Перецъ И.

Рассказы


LIBRI·E·ETTINGER·


LIBRI-E·ETTINGER·



И. Л. ПЕРЕЦЪ

РАЗСКАЗЫ

★

ПЕРЕВОДЪ СЪ ЕВРЕЙСКАГО
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ С. Г. ФРУГА

★



ИЗДАТЕЛЬСТВО С. Д. ЗАЛЬЦМАНЪ
БЕРЛИНЪ

Портретъ по ориг. рисунку I. Будко

★



Печать Библіографическаго Института въ Лейпцигѣ

ОГЛАВЛЕНІЕ

Ицхакъ Лейбушъ Перецъ родился въ 1851 году въ Замостьѣ, Люблинской губерніи, въ ортодоксальной семьѣ. Еще въ ранней юности Перецъ на ряду съ Талмудомъ сталъ изучать средневѣковую еврейскую философію и каббалу, а затѣмъ и «свѣтскія» науки. Большую часть своей жизни Перецъ провелъ въ Варшавѣ, гдѣ занималъ должность въ еврейской гминѣ (общинномъ управленіи).

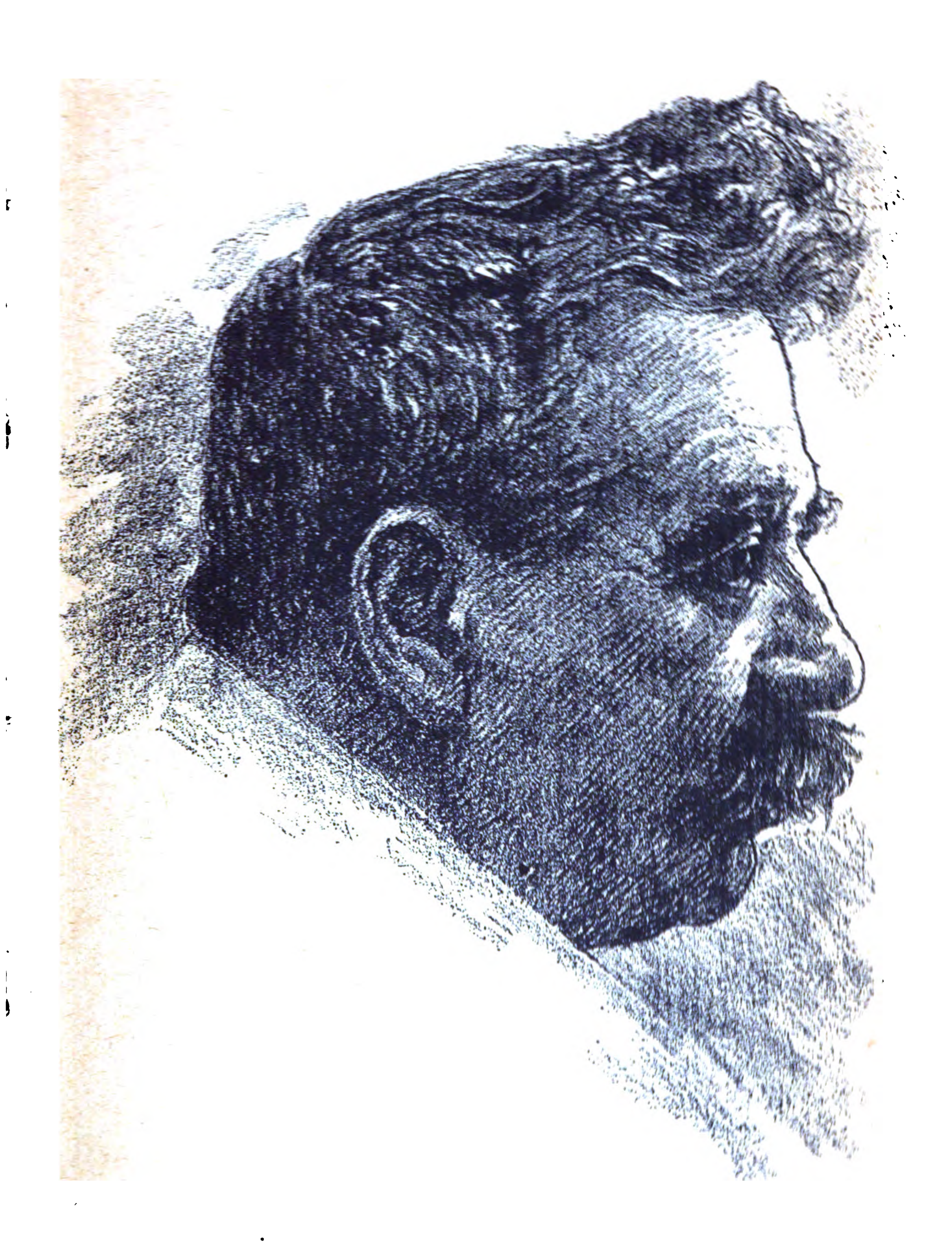
Въ печать Перецъ выступилъ въ 1876-мъ году стихотвореніемъ «Li omrim» въ журналѣ «Haschachar» Переца Смоленскаго и поэмой «Nagniel» въ «Haboker-or» А. Готлобера. Послѣ продолжительнаго перерыва Перецъ въ 1886-мъ году помѣстилъ въ ежегодникѣ «Haassif» нѣсколько очерковъ и поэму «Mineginoth hazman». Къ этому же времени относится первое произведеніе Переца на разговорно-еврейскомъ языкѣ-поэма «Monisch» («Jüdische Volksbibliotek» 1888 г.); съ 1890—1892 г. Перецъ издавалъ ежегодникъ «Jüdische Bibliotek», ставившій себѣ просвѣтительно-обличительныя задачи. Къ началу 90-хъ годовъ относится рядъ разсказовъ бытового и психологическаго характера. Во второмъ періодѣ творчества Переца реалистическій моментъ уступаетъ мѣсто символически-романтическому. Перецъ становится пѣвцомъ хасидизма и пишетъ рядъ разсказовъ и лирическихъ драмъ изъ хасидскаго міра. Въ 1909-мъ году выходятъ «Volkstümliche Geschichten» (Народные разсказы) Переца, являющіеся дальнѣйшимъ этапомъ въ его творчествѣ.

Перецъ много писалъ на еврейскомъ языкѣ. Въ 1894 г. вышелъ сборникъ его лирическихъ стихотвореній «Hougow». Въ 1899—1901 гг. появились его избранныя сочиненія на еврейскомъ языкѣ (изд- во «Тушія», Варшава). Многія свои произведенія Перецъ одновременно писалъ на еврейскомъ и разговорно-еврейскомъ языкахъ.

Къ 50-лѣтнему юбилею Переца было издано полное собраніе сочиненій его, переизданное въ 1903 году редакціей газеты «Дэръ Фрайндъ». Новое изданіе было выпущено въ 1908—1911 г. въ Варшавѣ и Америкѣ. Въ 1914 году издательство «Морія» приступило къ изданію произведеній Переца на еврейскомъ языкѣ. Перецъ для этого изданія перевелъ цѣлый рядъ своихъ произведеній, написанныхъ первоначально на разговорно-еврейскомъ языкѣ. Въ послѣднія два десятилѣтія Перецъ писалъ стихотворенія на еврейскомъ языкѣ, появившіяся въ журналѣ «Haschiloach» и отдѣльныхъ сборникахъ.

Перецъ извѣстенъ также, какъ общественный дѣятель; онъ много работалъ для созданія еврейскаго театра и выступалъ съ докладами литературнаго и общественнаго характера въ Польшѣ, Россіи и Галиціи.

Скончался онъ 21 марта 1915 года, въ Варшавѣ.



Отъ редактора

И. Л. Перецъ, современный еврейскій беллетристъ, пользуется широкою извѣстностью у еврейскихъ читателей. Искренность чувства, выпуклость образовъ и живая колоритность разсказа составляютъ отличительную черту большей части его произведеній.

Особенно типичными являются его такъ называемые «Хасидскіе разсказы», наименѣе поддающіеся переводу на русскій языкъ.

Къ сожалѣнію, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ предлагаемой книги соблюденіе дословной точности перевода оказалось невозможнымъ. Помимо терминовъ талмудическо-раввинистской письменности, употребляемыхъ преимущественно въ иносказательномъ или гиперболическомъ смыслѣ, нерѣдко встрѣчаются выраженія, либо составляющія исключительную

принадлежность нарѣчія польскихъ и галиційскихъ евреевъ, либо совершенно забытыя въ современномъ еврейскомъ жаргонѣ.

Невольно погрѣшая противъ дословной точности, переводчики сосредоточили свое вниманіе на сохраненіи общаго тона разсказовъ и ихъ бытовой и художественной сущности.

С. Фругъ

РАЗСКАЗЫ

Мораль жизни

Идутъ за городомъ двѣ еврейки: одна — высокая, полная, съ злыми глазами и тяжелой походкой, другая — худая, блѣдная, маленькая, съ опущенной внизъ головой.

— Ханэ, куда ты ведешь меня? — спрашиваетъ послѣдняя.

— Подожди, Грунэ, еще нѣсколько шаговъ, видишь, туда, къ горкѣ.

— Зачѣмъ? — продолжаетъ Грунэ, робко, отрывистымъ голосомъ, какъ бы пугаясь чего-то.

— Узнаешь, идемъ...

Онѣ подошли къ холму.

— Сядь, — говоритъ Ханэ. Грунэ послушно садится, Ханэ возлѣ нея.

И въ тишинѣ теплаго лѣтняго дня, далеко отъ городского шума, начинается отрывистый разговоръ.

— Грунэ, ты знаешь, кто былъ твой мужъ, миръ праху его?

Блѣдное лицо Грунэ покрывается тѣнью.

— Знаю, — отвѣчаетъ она, закусивъ губы.

— Онъ былъ сойферомъ*, Грунэ, благочестивымъ сойферомъ.

— Знаю, — говоритъ нетерпѣливо Грунэ.

— Прежде чѣмъ написать букву, онъ совершалъ омовеніе въ миквѣ**...

---

* Сойферъ занимается писаніемъ свитковъ Завѣта и филактерій.

** Бассейнъ для ритуальныхъ омовеній.

— Грубѣйшій вздоръ! Раза два въ недѣлю, правда, онъ ходилъ туда...

— Онъ былъ истиннымъ евреемъ...

— Правда.

— Да будетъ онъ заступникомъ нашимъ.

Грунэ молчитъ.

— Ты молчишь? — удивляется Ханэ.

— Все равно!

— Нѣтъ, не все равно! Пусть онъ — таки заступится за насъ, слышишь?

— Слышу!

— Что скажешь на это?

— Что мнѣ сказать? Я знаю только, что онъ за насъ не заступился...

Пауза. Обѣ женщины понимаютъ другъ друга: благочестивый сойферъ умеръ, оставивъ вдову съ тремя дѣвочками-сиротами. Грунэ вторично замужъ не выходила, не хотѣла дать отчима своимъ дѣтямъ, сама работала на себя и на дѣтей, но удачи ей не было ни въ чемъ... «Онъ не былъ заступникомъ ихъ!..»

— А знаешь, почему? — нарушаетъ Ханэ молчаніе.

— Эть...

— Потому что ты грѣшна...

— Я? — вскакиваетъ Грунэ, какъ подстрѣленная, — я — грѣшна?

— Слушай, Грунэ, всякій человѣкъ грѣшенъ, а ты и подавно...

— Подавно?..

— Грунэ, не даромъ я тебя повела за городъ къ рѣкѣ, въ поле... вѣдь свѣжаго воздуха намъ, слава Богу, не нужно... Видишь ли, Грунэ... мать и особенно еще вдова благочестиваго сойфера должна...

— Что она должна?

— Должна быть богобоязненнѣе всѣхъ, лучше всѣхъ и внимательнѣе смотрѣть за своими дочерьми...

Блѣдная Грунэ стала еще блѣднѣе. Глаза загорѣлись, ноздри раздулись, и синія, запекшіяся губы задрожали.

— Ханэ! — крикнула она.

— Ты знаешь вѣдь, Грунэ, что я тебѣ вѣрный другъ, но правду я тебѣ должна сказать, не то мнѣ придется держать отвѣтъ передъ Богомъ... Я сплетничать на тебя не буду, изъ-за меня ты не попадешь людямъ на языкъ, все останется между нами, одинъ только Богъ на небѣ услышитъ.

— Не тяни мнѣ душу!

— Такъ слушай же! Коротко и ясно... вчера вечеромъ, поздно вечеромъ, я возвращалась съ вокзала, и на горкѣ сидѣла твоя Мирль...

— Одна?

— Нѣтъ!

— Съ кѣмъ?

— Развѣ я знаю? Шляпа какая-то... цилиндръ даже... Онъ цѣловалъ ее въ шею и затылокъ... Она смѣялась и грызла леденцы...

— Я знаю это!.. — отозвалась Грунэ замогильнымъ голосомъ, — это не въ первый разъ...

— Ты знала это? Что? Онъ — женихъ ея?

— Нѣтъ...

— Нѣтъ? и ты... молчала?

— Да.

— Грунэ!

Но теперь Грунэ уже спокойна.

— Теперь молчи ты и слушай, что я тебѣ скажу, — говоритъ она рѣзкимъ голосомъ, схвативъ Ханэ за рукавъ и заставляя ее сѣсть опять.

— Слушай, — продолжаетъ она, — я тебѣ все разскажу, и только одинъ Богъ на небѣ насъ услышитъ!

Ханэ сѣла опять.

— Когда мой мужъ умеръ... — начинаетъ Грунэ.

— Какъ ты это говоришь, Грунэ?

— Какъ же мнѣ говорить?

— Безъ «блаженной памяти»? и нужно вѣдь сказать «преставился»...

— Все равно, преставился, умеръ — его вѣдь закопали...

— Онъ вернулся къ своимъ предкамъ...

— Пусть будетъ такъ... только меня онъ оставилъ съ тремя сиротками-дѣвочками...

— Бѣдный, онъ кадиша* не оставилъ.

— Трехъ дочерей, старшую...

— Генендель...

— Четырнадцати лѣтъ...

— У многихъ такая дѣвушка уже невѣста...

— У насъ хлѣба не было! не до сватовства было...

— Какъ ты, Грунэ, говоришь сегодня!

— Не я говорю — боль моего сердца говоритъ... Генендель, ты знаешь, была самой красивой дѣвушкой въ городѣ...

— И теперь... чтобы не сглазить!

— Теперь она — выжатый лимонъ, дожила до сѣдыхъ волосъ! Но тогда она сіяла, словно солнце... И я была вдовой благочестиваго сойфера, я берегла ее, какъ зѣницу ока своего, я знала, что въ нынѣшнія времена... шляются всякіе музыканты, портные, франтики и старые холостяки... Но на что мать? Дѣвица въ невѣстахъ должна быть чиста, какъ зеркало... И я добилась своего, пылинки на нее не упало, я ее берегла, стерегла, глазъ не спускала, ни на мигъ одну изъ дому не выпускала, и все ей нотаціи, мораль читала... не смотри туда, не гляди сюда, не становись тамъ, не ходи туда... не смотри, какъ птички летаютъ...

— Ну, и очень хорошо...

— Замѣчательно хорошо! — сказала Грунэ съ горечью. — Пойди-ка ко мнѣ и посмотри, какъ она теперь выглядитъ! Да, она дѣйствительно честная дѣвушка, но тридцати шести лѣтъ! Худа, хоть кости пересчитать, кожа сморщена, точно пергаментъ для филактерій, глаза потухшія, лицо кислое, безъ улыбки, губы вѣчно сжатыя. Да, часто загораются ея потухшія глаза,

---

* Т.-е. сына, читающаго по умершимъ родителямъ заупокойную молитву «кадишъ».

но въ нихъ горитъ тогда ненависть, злоба, точно въ аду... и, знаешь, къ кому? знаешь, кого они ненавидятъ? кого шопотомъ проклинаетъ она?

— Кого?..

— Меня! меня — свою родную мать!..

— Что ты говоришь? за что?

— Она, можетъ, сама не знаетъ за что, но я знаю. Я стала между нею и міромъ, между нею и солнцемъ! Я не допустила... какъ бы это сказать... тепла и свѣта къ ея тѣлу... Я думала объ этомъ цѣлыя ночи, пока не поняла этого окончательно! Она должна меня ненавидѣть... каждая частица ея тѣла ненавидитъ меня!

— Что ты говоришь!

— Что слышишь. Сестеръ своихъ она навѣрное ненавидитъ, онѣ моложе ея и красивѣе!

Грунэ съ трудомъ переводитъ духъ, а Ханэ не можетъ прійти въ себя... Она слышитъ что-то ужасное, что-то худшее, чѣмъ болѣзнь, чѣмъ смерть, чѣмъ даже «смерть подъ вѣнцомъ» — величайшее несчастье, которое можетъ только постигнуть еврея, и все-таки... Владыко міра, такъ *должно* быть!

— Младшую, Лею, я ужъ дома не держала... я ее отдала въ прислуги... — продолжала Грунэ, и ея голосъ сталъ еще болѣе хриплымъ, еще болѣе отрывистымъ.

— Я тогда достаточно возмущалась, — вспоминаетъ Ханэ, — дочь сойфера въ служанкахъ!

— Мнѣ хотѣлось хоть ее выдать замужъ, пусть хоть у нея будетъ немного приданаго; отъ моей торговли лукомъ приданаго не соберешь... И за ней я тоже смотрѣла... Не одинъ хозяинъ умильно поглядывалъ на нее, не одинъ хозяйскій сынокъ хотѣлъ сдѣлать изъ нея игрушку для себя... но я вѣдь мать! И я была преданной матерью! У меня ноги подкашивались, а я десять разъ въ день бѣгала къ ней на кухню, плакала, падала въ обморокъ, мораль читала ей, хорошія, благочестивыя рѣчи говорила... Я цѣлыя ночи не спала, «Кавъ-Гаіошоръ» и другія священныя книги читала, а по ут-

рамъ бѣгала къ ней пересказывать прочитанное... и свое еще добавлять! Да проститъ мнѣ Богъ, изъ трехъ чертей я дѣлала десять, одинъ ударъ розгой я въ «сквозь строй» превращала, огнемъ на нее дышала... И она была кроткой, честной дочерью, она позволяла руководить собой... Кромѣ глазъ, она — вылитый отецъ, блѣдная, безъ кровинки, и такіе добрые, влажные глаза, но она была красивѣе...

— Ты говоришь о ней, какъ объ умершей, упаси Богъ!..

— А ты думаешь, что она живетъ? Я тебѣ говорю, что она не живетъ! Она накопила приданаго, а мужа дала ей я! Она, бѣдняжка, плакала, не хотѣла она его, онъ слишкомъ грубъ, простъ для нея. Но вѣдь ученый не женится на прислугѣ, да еще при 30 рубляхъ, приданаго! Я благодарила Бога и за это — портной, такъ портной! Ну, такъ онъ жилъ съ ней годъ, отнялъ у нея деньги, здоровье, послѣднія силы и бѣжалъ... Онъ оставилъ ее нагой и босой, только... съ больными легкими! Она харкаетъ кровью! Она ужъ тѣнь, а не человѣкъ... Она ласкается ко мнѣ, какъ маленькій ребенокъ, ложится возлѣ меня, какъ овечка... и цѣлыя, цѣлыя ночи плачетъ... И знаешь ты, на кого она плачется?

— На мужа своего, да сотрется память о немъ!

— Нѣтъ, Ханэ, на меня она плачется, на меня! Я ее сдѣлала несчастной! Ея слезы падаютъ мнѣ на сердце, какъ расплавленный свинецъ, онѣ меня отравляютъ, эти слезы...

Она опять замолкаетъ, едва переводя дыханіе.

— Итакъ?

— Итакъ? Такъ я себѣ сказала: достаточно! Пусть ужъ моя третья дочь живетъ, живетъ такъ, какъ ей хочется... Она работаетъ на фабрикѣ, работаетъ 16 часовъ въ сутки, едва зарабатываетъ на сухой хлѣбъ... Ей хочется леденцовъ, пусть ѣстъ ихъ! Ей хочется смѣяться, баловаться, цѣловаться, — пусть! Ты слышишь, Ханэ, пусть! Я ей лакомствъ дать не могу, мужа

подавно... Выжатый лимонъ изъ нея сдѣлать — я не хочу, дать ей чахотку — нѣтъ, нѣтъ! Пусть ужъ моя дочь не ненавидитъ меня, не плачется на меня!..

— Но, Грунэ, — кричитъ Ханэ въ испугѣ, — что скажутъ люди?

— Пусть люди прежде всего имѣютъ состраданіе къ бѣднымъ сиротамъ, пусть не помыкаютъ ими, какъ ослами, задаромъ! Пусть у людей будутъ человѣческія сердца, и пусть не держатъ они бѣдныхъ для выжиманія изъ нихъ соковъ, какъ изъ лимоновъ...

— А Богъ! Богъ, да будетъ благословенно Его имя?

И Грунэ подымается и кричитъ, какъ будто желая, чтобъ ее услышалъ Богъ въ небесахъ:

— Богъ долженъ былъ раньше позаботиться о тѣхъ, о старшихъ...

*

Тяжелая тишина. Обѣ, тяжело дыша, стоятъ другъ противъ друга съ глазами, метающими молніи.

— Грунэ! — кричитъ, наконецъ, Ханэ, — Богъ, Богъ покараетъ!..

— Не меня, не дочерей моихъ! Богъ справедливъ, онъ накажетъ кого-нибудь другого!.. другого!



Постъ

Зимній вечеръ. Соре сидитъ у каганца и штопаетъ старый чулокъ. Пальцы ея окоченѣли, и работа медленно подвигается впередъ. Отъ холода посинѣли губы. Часто она бросаетъ работу и начинаетъ бѣгать по комнатѣ, чтобы согрѣть озябшія ноги.

На кровати, на голомъ соломенномъ тюфякѣ спятъ, головами попарно въ одну и въ другую сторону, четверо дѣтей, покрытыхъ какимъ-то старьемъ.

Просыпается то одинъ, то другой, поднимается то та, то другая головка, и раздается тоненькій голосокъ: «Ку-ушать».

— Потерпите, дѣтки, — успокаиваетъ ихъ Соре, — скоро придетъ отецъ и принесетъ ужинъ. Я васъ всѣхъ тогда разбужу.

— А обѣдъ? — съ плачемъ спрашиваютъ дѣти. — Вѣдь мы еще не обѣдали.

— И обѣдъ онъ принесетъ.

Она сама не вѣритъ тому, что говоритъ. Глазами она обводитъ всю комнату: не найдется ли еще что заложить... ничего!

Мокрыя, голыя стѣны. Растрескавшаяся печь. Кругомъ сырость и холодъ... На лежанкѣ — нѣсколько разбитыхъ горшковъ, на печкѣ — старый погнутый жестяной свѣтильникъ — «ханука-лемпелъ». Въ потолкѣ торчитъ гвоздь, слѣдъ висѣвшей здѣсь нѣкогда лампы. Двѣ кровати, пустыя, безъ подушекъ... И ничего больше.

Дѣти засыпаютъ не скоро. Соре глядитъ на нихъ съ жалостью, у нея сжимается сердце... Заплаканные глаза устремились на дверь. На ступенькахъ, ведущихъ въ подвалъ, послышались тяжелые шаги. Гремятъ жестяные кувшины то справа, то слѣва. Лучъ надежды озарилъ ея изможденное лицо. Она ударяетъ ногой объ ногу, тяжело поднимается, подходитъ къ двери и открываетъ ее. Входитъ блѣдный, сгорбленный еврей, нагруженный пустыми жестяными кувшинами.

— Ну? — тихо спрашиваетъ Соре.

Онъ ставитъ на полъ кувшины, снимаетъ съ себя коромысло, вздыхаетъ и отвѣчаетъ еще болѣе тихимъ голосомъ:

— Ничего, опять ничего! Никто не уплатилъ. Завтра, говорятъ, отдадутъ. Каждый говоритъ: «Завтра, послѣзавтра, перваго»...

— Дѣти съ утра почти ничего не ѣли, — говоритъ Соре. — Хорошо, что хоть спятъ... Бѣдныя дѣти...

Она не можетъ удержаться и начинаетъ тихо плакать.

— Чего же ты, глупая, плачешь? — спрашиваетъ мужъ.

— Охъ, Мендель, Мендель, дѣти такъ голодны.

Усиліемъ воли она старается остановить слезы.

— И чѣмъ же все это кончится? — говоритъ она печально — Что ни день, становится все хуже.

— Хуже? Нѣтъ, Соре, не грѣши. Въ прошломъ году было хуже, куда хуже. Мы и тогда были безъ куска хлѣба, но къ тому же еще безъ квартиры! Тогда дѣти валялись днемъ на улицахъ, ночью гдѣ-нибудь на задворкахъ... теперь же они лежатъ на тюфякѣ и подъ кровлей.

Соре разрыдалась сильнѣе.

Она вспомнила, что именно тогда посреди улицы, она лишилась ребенка. Онъ простудился, охрипъ и умеръ. Умеръ, какъ въ пустынѣ... Нечѣмъ было и спасать... И онъ угасъ, какъ свѣчка, остальнымъ дѣткамъ на долгіе годы... И то сказать, не бѣгали въ синагогу взы-

вать къ Всевышнему, не ходили на могилы молить души покойниковъ о заступничествѣ, даже не пошептали отъ дурного глаза.

Онъ старается утѣшить ее:

— Полно, Соре, не плачь... не грѣши...

— Когда же, наконецъ, Богъ сжалится надъ нами?

— Да имѣй ты сама жалость къ себѣ, не принимай всего такъ близко къ сердцу! На кого ты стала похожа! Всего прошло десять лѣтъ послѣ нашей свадьбы, а посмотри на себя... Посмотришь, такъ сердце разрывается. А вѣдь ты была самой красивой дѣвушкой въ городѣ.

— А ты? Помнишь, тебя называли Мендель-силачъ. Теперь ты согнулся въ три погибели, хвораешь... хоть и скрываешь это отъ меня... Охъ, Боже мой! Боже мой!

Просыпаются дѣти.

— Кушать!.. Хлѣба!

— Боже упаси! Да кто это сегодня ѣстъ! — вдругъ отзывается Мендель. Дѣти испуганно вскакиваютъ съ постели.

— Сегодня постъ, — говоритъ Мендель съ угрюмымъ лицомъ.

Дѣти не сразу сообразили.

— Постъ? какой постъ? — спрашиваютъ они сквозь слезы.

И Мендель, опустивъ глаза, поясняетъ, что сегодня во время утренней молитвы обронили Тору съ амвона.

— Поэтому, — говоритъ онъ, — объявленъ на завтра постъ, всѣмъ, даже груднымъ дѣтямъ.

Дѣти молчатъ, и онъ продолжаетъ:

— Постъ такой же важный, какъ Іомъ-Кипуръ и Тише-б'овъ; начинается онъ сегодня вечеромъ.

Дѣти быстро соскакиваютъ съ постели и босикомъ, въ рваныхъ рубашенкахъ, начинаютъ кружиться по комнатѣ, весело вскрикивая:

— Поститься! Мы будемъ поститься!

Мендель заслоняетъ спиной каганецъ, чтобъ дѣти не замѣтили, какъ мать заливается слезами.

— Тише, тише! — старается онъ успокоить дѣтей. — Въ постъ нельзя плясать: дастъ Богъ попляшемъ въ Симхасъ-Тору.

Дѣти улеглись.

Забытъ голодъ.

Одна изъ дѣвочекъ начинаетъ пѣть:

«На горѣ высокой»..

Дрожь пробѣгаетъ у Менделя по всѣмъ членамъ.

— Пѣть также грѣшно, — говоритъ онъ глухимъ голосомъ.

Дѣти понемногу успокаиваются и засыпаютъ, утомленныя пляской и пѣніемъ.

Одинъ только старшій мальчикъ еще не спитъ и спрашиваетъ:

— Папа, когда мнѣ минетъ тринадцать лѣтъ?

— Долго еще до этого, Хаимель, долго — цѣлыхъ четыре года, — дай Богъ тебѣ здоровья.

— Тогда ты мнѣ купишь «тфилнъ»?*

— А то какъ же?

— И мѣшочекъ для нихъ?

— Разумѣется.

— И молитвенникъ купишь? Маленькій, съ золотымъ обрѣзомъ?

— Съ Божьей помощью... Моли Бога, Хаимель.

— Тогда я ужъ ни въ одинъ постъ не стану ѣсть.

— Да, да, Хаимель, ни въ одинъ постъ...

А про себя онъ прибавляетъ:

— Боже великій, только не знать бы имъ такихъ постовъ, какъ сегодня.

---

* Филактеріи.

Замужество

(Разсказъ еврейки)

Я помню то время, когда я играла въ камешки и лѣтомъ пекла на дворѣ булки изъ глины. Зимой я по цѣлымъ днямъ просиживала у колыбели своего больного братишки, который родился хилымъ и, проболѣвъ до семи лѣтъ, умеръ отъ повѣтрія.

Лѣтомъ этотъ несчастный ребенокъ до самаго вечера сидѣлъ на дворѣ, грѣясь на солнышкѣ, и слѣдилъ за тѣмъ, какъ я играю въ камешки.

Зимой онъ не покидалъ колыбели, а я разсказывала ему сказки и напѣвала пѣсенки. Остальные братья уходили въ хедеръ.

Мать бывала занята по цѣлымъ днямъ. Бѣдная мать, сколько у нея было профессій! Она была торговкой, пекла пряники, ходила на свадьбы и на обрѣзанія, наблюдала за обрядомъ омовенія въ миквѣ, совершала «обмѣръ могилъ»*, была начетчицей въ синагогѣ и, сверхъ всего, закупала провизію дла зажиточныхъ хозяекъ.

Отецъ за три рубля въ недѣлю служилъ писцомъ на лѣсной дачѣ у ребъ Занвиля Теркельбаума. То были еще счастливыя времена: меламедамъ было уплочено, за квартиру платили почти исправно, не было недостатка въ кускѣ хлѣба.

* Ниткой, употребляемой потомъ на фитиль для восковой колодки (сорокаустъ).

Иногда мать стряпала къ ужину похлебку. Тогда въ домѣ бывалъ настоящій праздникъ. Но это случалось рѣдко.

Мать большей частью возвращалась домой поздно, усталая, нерѣдко злая и заплаканная. Она жаловалась, что хозяйки не платятъ ей долговъ. Сперва велятъ затрачивать свои деньги, потомъ предлагаютъ прійти завтра, послѣзавтра. Тѣмъ временемъ дѣлаются новыя покупки, а доходитъ до расчета, хозяйка «не помнитъ», уплатила ли она третьяго дня за осьмушку масла. До поры до времени масла не засчитываютъ. Надо спросить у мужа, который былъ при этомъ, — у него «желѣзная» память, и онъ навѣрное помнитъ счетъ. На завтра оказывается, что мужъ поздно вернулся изъ синагоги, и что хозяйка забыла спросить его; на третій день она съ торжествомъ заявляетъ, что спросила у мужа, но онъ разсердился на нее за то, что она пристаетъ къ нему съ пустяками. «Только ему и дѣло, что прислушиваться къ бабскимъ счетамъ!» И остается, что она сама вспомнитъ.

Потомъ ей начинаетъ казаться, почти навѣрняка, что она осьмушку масла засчитала, и въ концѣ концовъ она готова поклясться въ этомъ. И когда бѣдная мать рѣшается еще разъ напомнить о маслѣ, это называютъ нахальствомъ, говорятъ ей, что она выдумываетъ, хочетъ выманить нѣсколько копѣекъ. Ее предупреждаютъ, что если она еще разъ заикнется о маслѣ, то пусть лучше на глаза не показывается.

Мать моя, родомъ изъ богатаго дома, сама теперь была бы хозяйкой наравнѣ съ другими, не отними у нея помѣщикъ приданаго, и потому съ трудомъ сносила все это. Она приходила домой съ опухшими отъ слезъ глазами, съ рыданіями бросалась на кровать и долго лежала такъ, пока не выплачетъ свое горе. Потомъ вставала и варила намъ клецки съ бобами.

Часто она вымещала свой гнѣвъ на насъ, т.-е. больше всего на мнѣ. Больного Береля она никогда не

бранила, братьевъ, учившихся въ хедерѣ, бранила очень рѣдко: они, бѣдные, и безъ того приходили съ синяками на щекахъ отъ щипковъ и подбитыми глазами. За то меня она часто, бывало, рванетъ за косу или дастъ пинка. «Руки бы у тебя отсохли, если бъ ты развела огонь и согрѣла горшокъ воды?» Когда же я дѣлала это — мнѣ доставалось еще больше: «Смотри на нее, какъ расхозяйничалась! Огонь развела, лишь бы зря дрова палить. Конечно, какое ей дѣло до того, что мнѣ приходится надрываться! Нищей она меня сдѣлаетъ!»

Нерѣдко за глаза доставалось и отцу. Мать садилась на кровать лицомъ къ окну и, устремивъ свой взглядъ въ пространство, тяжело вздыхала. «Ему и горя мало! Онъ сидитъ себѣ тамъ въ лѣсу, какъ графъ, дышетъ свѣжимъ воздухомъ, валяется на травѣ, жретъ простоквашу, а можетъ быть, даже сметану — я знаю? А у меня животъ подводитъ».

Тѣмъ не менѣе это было еще хорошее время. Голодать не приходилось, и послѣ недѣли, полной самыми разнообразными мелкими непріятностями, наступала веселая или, по крайней мѣрѣ, спокойная суббота. Отецъ нерѣдко приходилъ къ субботѣ домой, а мать суетилась, заглядывала во всѣ уголки и втихомолку улыбалась.

Часто по пятницамъ, на исходѣ дня, передъ тѣмъ, какъ помолиться надъ свѣчами, она цѣловала меня въ голову, и я понимала сокровенный смыслъ этого. Когда же случалось, что отецъ не приходилъ на субботу, мать ругала меня вѣдьмой, вырывала гребешкомъ чуть ли не половину волосъ и вдобавокъ награждала нѣсколькими пинками. Но я не плакала. Сердце дочери чувствовало, что мать проклинаетъ не меня, а свою горькую долю!

Потомъ вырубили лѣсъ, отецъ вернулся домой, и въ домѣ сталъ чувствоваться недостатокъ въ кускѣ хлѣба. На самомъ дѣлѣ нужда коснулась только отца, матери и меня, на остальныхъ дѣтяхъ она мало отрази-

лась. Больному братишкѣ почти ничего и не нужно было, — онъ хлебнетъ, бывало, немного супа, если ему подадутъ, и снова уставится въ потолокъ. Другія дѣти ходятъ, бѣдняжки, въ хедеръ, и имъ необходимо дать поѣсть чего-нибудь горячаго. Только мнѣ довольно часто приходилось голодать.

Отецъ и мать постоянно со слезами на глазахъ вспоминали прежнее время, я же, наоборотъ, въ тяжелое время чувствовала себя гораздо лучше. Съ тѣхъ поръ, какъ въ домѣ воцарилась нужда, мать полюбила меня гораздо сильнѣе.

Теперь, возвращаясь домой, она не драла меня за волосы, и на мое тощее тѣло не сыпались удары. За обѣдомъ отецъ гладилъ меня по головѣ и старался отвлечь мое вниманіе отъ того, что меня обдѣляютъ, а я гордилась, что теперь, когда надо поститься, я пощусь наравнѣ съ отцомъ и матерью, и считала себя взрослой дѣвицей.

Тѣмъ временемъ умеръ мой больной братишка.

Случилось это такъ: однажды мать проснулась и сказала отцу: «Знаешь, Берелю должно быть лучше, онъ спалъ всю ночь и ни разу не разбудилъ меня».

Я услышала эти слова — сонъ у меня всегда былъ чуткій, съ радостью спрыгнула съ сундука, на которомъ спала, и побѣжала посмотрѣть на своего «единственнаго братишку» (я очень любила его и всегда такъ называла). Я надѣялась увидать улыбку на изможденномъ личикѣ, ту улыбку, которая такъ рѣдко появлялась на немъ... Я нашла трупъ. Пришлось сидѣть шивэ*. Потомъ заболѣлъ отецъ, и къ намъ сталъ захаживать фельдшеръ...

Пока мы могли платить, кое-какъ сводя концы съ концами, заходилъ онъ самъ, когда же на лѣченіе ушли послѣднія подушки, висячая лампа и священныя книги

* Первые семь дней траура семья умершаго проводитъ сидя на полу.



отца, до которыхъ мать долгое время не позв
трагиваться, фельдшеръ сталъ посылать своег
наго.

Подручный очень не нравился матери: н
крученные усики, одѣвается по новомодному
того, ежеминутно вставляетъ польскія слова.

Я боялась его, до сихъ поръ не знаю почем
дый разъ, когда онъ долженъ былъ прійти,
на дворъ и тамъ ждала, пока онъ уйдетъ.

Однажды заболѣлъ одинъ изъ нашихъ сос
бѣднякъ и, повидимому, такъ же, какъ и мы,
распродать весь домашній скарбъ, — и «п
фельдшера (я до сихъ поръ не знаю, какъ
изъ нашего дома направился въ домъ сосѣда
по двору, онъ засталъ меня сидящей на брев
стила глаза. Чувствуя его приближеніе, я
дѣла и слышала, какъ сердце мое стало учащ

Онъ подошелъ ко мнѣ, взялъ за подбор
нялъ мою голову и сказалъ простымъ евре
комъ:

— Такая красивая дѣвушка, какъ ты
быть неряшливой и не должна стѣсняться
ловѣка!

Онъ отпустилъ меня, и я убѣжала въ д
ствовала, что вся кровь прилила къ моему
лась въ темный уголъ за печкой, подъ пр
то хочу сосчитать грязное бѣлье. Это бы

Въ пятницу я первый разъ въ жизни,
ла матери, что я выгляжу неряшливо, и
вымыть голову.

Мать заломила руки:

— Боже мой, вѣдь ужъ три недѣли
сала ее.

Но внезапно она пришла въ ярость.

— Вѣдьма! — закричала она — та
дѣвка и не можетъ сама позаботиться
на твоемъ мѣстѣ обмывала бы еще др

— Не кричи, Сореле! — взмолился отецъ. Но гнѣвъ матери становился все сильнѣе и сильнѣе.

— Вѣдьма, слышишь ты? сейчасъ же вымой голову, сію же минуту! Слышишь?

Я боялась подойти къ печкѣ, гдѣ стояла горячая вода, такъ какъ, проходя мимо матери, я могла получить пинка. Спасъ меня по обыкновенію отецъ.

— Не кричи, Сореле, — застоналъ онъ, — у меня и такъ голова болитъ!..

Этого было вполнѣ достаточно. Гнѣвъ матери какъ рукой сняло... Я свободно прошла черезъ всю комнату и приблизилась къ горшку съ водой.

Я неуклюже моюсь и вижу, какъ мать подходитъ къ отцу и, тяжело вздыхая, указываетъ на меня.

— Боже милостивый! — тихо обращается она къ отцу, но мое ухо улавливаетъ каждое слово, — она растетъ, бѣдняжка, какъ на дрожжахъ, сіяетъ, какъ золото... а что изъ того?

Отецъ отвѣчаетъ еще болѣе тяжкимъ вздохомъ.

Фельдшеръ неоднократно говорилъ отцу, что онъ не такъ плохъ. Отъ огорченій у него сдѣлалась болѣзнь печени, она опухла и давитъ на сердце, — и только всего! Главное, ему надо пить молоко, избѣгать непріятностей, почаще уходить изъ дому, встрѣчаться съ людьми и вообще найти себѣ какое-нибудь дѣло. Но отецъ жаловался, что ноги перестали ему служить. Отчего — объ этомъ я узнала позже.

Однажды лѣтомъ на разсвѣтѣ меня разбудилъ разговоръ между отцомъ и матерью.

— Ты, бѣдный мой, должно быть, много ходилъ, когда служилъ въ лѣсу.

— Еще бы, — отвѣчаетъ отецъ, — въ лѣсу сразу рубили въ двадцати мѣстахъ. Видишь ли, лѣсъ принадлежитъ помѣщику, а мужики владѣютъ сервитутами: имъ принадлежитъ хворостъ и буреломъ. Когда вырубаютъ лѣсъ, они теряютъ сервитуты и должны покупать строевой лѣсъ и дрова на топливо. Конечно, они

захотѣли наложить запретъ и обратились къ комиссар.
Но спохватились они слишкомъ поздно. Какъ толь ребъ Занвиль увидѣлъ, что они почесываютъ затылк, онъ сейчасъ же распорядился поставить еще 40 дровосѣковъ. Лѣсъ превратился въ настоящій адъ, рубили, можетъ быть, въ двадцати мѣстахъ. Повсюду надо было поспѣвать... Что ты думаешь? Ноги распухали у ме какъ бревна.

— Какъ человѣкъ грѣшитъ! — вздохнула мать, — а я думала, что тебѣ тамъ нечего дѣлать...

— Какъ бы не такъ!—горько улыбнулся отецъ,—всего только съ самаго разсвѣта до поздней ночи на ногахъ!

— И все за три рубля въ недѣлю!

— Онъ обѣщалъ прибавить... Тѣмъ временемъ, тѣ вѣдь знаешь, затонули его плоты, и онъ сталъ жалк ваться, что совсѣмъ разорился.

— А ты ему такъ и повѣрилъ?

— Возможно...

— Вѣчно, — ворчитъ мать, — онъ разоряется, а между тѣмъ его состояніе все растетъ и растетъ.

Наступило короткое молчаніе.

— Ты не знаешь, чѣмъ онъ теперь промышляетъ? — спрашиваетъ отецъ, который уже почти годъ какъ не выходилъ изъ дому.

— Чѣмъ онъ можетъ промышлять? Онъ торгуетъ льномъ, яйцами, кабакъ открылъ...

— А она что дѣлаетъ?

— Она, бѣдная, больна...

— Жалко, хорошая женщина.

— Брилліантъ! Единственная хозяйка, которая не захочетъ чужого гроша. Она и платила бы во время, если бы сама что-нибудь значила у него.

— Кажется, — говоритъ отецъ, — это у него уже третья жена?

— Ну-да!

— Видишь, Соре, вотъ тебѣ уже богатый еврей... и у него нѣтъ счастья въ женитьбѣ... у каждаго свое горе.

— И такая молодая! — вставляетъ мать, — всего два-ать съ чѣмъ-то лѣтъ.

— Ну, иди, знай! Ему навѣрное за семьдесятъ, — а кой крѣпкій.

— Еще бы — онъ еще щелкаетъ орѣхи.

— И не носитъ очковъ.

— А его походка — полъ дрожитъ подъ нимъ!

— А я, видишь, долженъ лежать въ постели.

Меня бросило въ жаръ при послѣднихъ словахъ.

— Богъ намъ поможетъ, — утѣшаетъ мать.

— Вотъ только она, она... — снова вздыхаетъ мать при этомъ бросаетъ взглядъ на сундукъ. — Она ра-етъ, не сглазить бы только, какъ на дрожжахъ... спе-еди-то... ты видѣлъ?..

— Еще бы!

— А лицо... сіяетъ, какъ солнце...

Послѣ короткой паузы:

— Знаешь, Сореле, мы грѣшимъ передъ Богомъ!

— Чѣмъ?

— А вотъ, дочкой. Сколько было тебѣ, когда ты ышла замужъ?

— Я была моложе.

— Ну?..

— Ну... что?

Въ ту же минуту послышались два удара въ ставню.

Мать вскочила съ постели. Въ одинъ мигъ она обор-ала шнурокъ отъ ставней и распахнула окно, давнымъ авно лишенное задвижекъ.

— Что случилось? — крикнула она на улицу.

— Жена ребъ Занвиля скончалась.

Мать отпрянула отъ окна.

— Благословенъ праведный Судія! — промолвилъ тецъ... — умереть ничего не стоитъ...

— Благословенъ праведный Судія! — повторила ать, — только что говорили о ней...

*

Я переживала тогда очень безпокойное время. Сама не знаю, что со мной было.

Бывало, я не спала цѣлыми ночами. Въ вискахъ стучало, какъ молотками, сердце билось, точно пугалось чего-то, или чего-то желало непреодолимо; а другой разъ на сердцѣ становилось такъ тепло и отрадно, что хотѣлось все и всѣхъ обнимать, цѣловать, прижимать къ себѣ.

Но кого? Братишки не давались, пятилѣтній Іойхоненъ упрямился и кричалъ, что не хочетъ играть съ дѣвчонкой. Мать... не говоря уже о томъ, что я боялась ея, вѣчно была сердита и полна заботъ... Отецъ — еще больше расхворался.

Въ короткое время онъ посѣдѣлъ, какъ лунь, лицо его покрылось морщинами, а глаза смотрѣли такъ безпомощно, съ такой нѣмой мольбой, что стоило мнѣ взглянуть на него, чтобы я съ плачемъ выбѣжала вонъ изъ комнаты.

Тогда я вспоминала своего Береля... Ему бы я все могла разсказать, могла бы цѣловать его, прижимать къ груди... Но онъ лежитъ въ сырой землѣ, и... я разражалась еще болѣе горькимъ плачемъ...

Собственно говоря, слезы навертывались у меня на глаза безъ всякой видимой причины. Порой, бывало, я смотрю изъ окна на дворъ, слѣдя за тѣмъ, какъ луна все ближе и ближе подплываетъ къ выбѣленной оградѣ передъ нашимъ окномъ и никакъ не можетъ переплыть черезъ нее.

И вдругъ мнѣ становится жаль луны. Мое сердце сжимается, на глазахъ появляются слезы и текутъ въ три ручья по щекамъ.

Порой я ходила обезсиленная, съ блѣднымъ лицомъ и синими кругами подъ глазами. Въ ушахъ шумъ. Голова отяжелѣла.

И мнѣ начинало казаться, что я такая несчастная, что лучше всего было бы умереть.

Тогда я сильно завидовала Берелю... Онъ лежитъ себѣ тамъ, и ничто не тревожитъ его.

Очень часто мнѣ, бывало, снится, что я умираю, что я лежу въ гробу, или летаю по небу въ одной сорочкѣ съ распущенными волосами, смотрю внизъ и вижу, что дѣлается на землѣ.

Какъ разъ въ это время я успѣла отстать отъ всѣхъ подругъ, съ которыми я когда-то играла въ камешки, а новыхъ уже не обрѣла.

Одна изъ нихъ стала уже по субботамъ появляться въ атласномъ платьѣ съ цѣпочкой и часами на груди; вскорѣ должны были праздновать ея свадьбу. Другія становились уже «невѣстами». Сваты и родственники жениховъ «обивали пороги». Дѣвушекъ причесывали, мыли, наряжали, тогда какъ я еще бѣгала босикомъ въ старой бежевой коротенькой юбкѣ и въ полинялой ситцевой кофточкѣ, распоровшейся къ тому же въ нѣсколькихъ самыхъ неудобныхъ мѣстахъ и заплатанной ситцемъ другого цвѣта. «Невѣсты» отворачивались отъ меня, а съ болѣе молодымъ поколѣніемъ я стыдилась вести дружбу, а игра въ камешки больше меня не забавляла.

Я поэтому днемъ не выходила на улицу. Мать же никуда не посылала меня, и когда я даже сама вызывалась сбѣгать за чѣмъ-нибудь, не пускала меня. Зато я часто подъ вечеръ украдкой уходила изъ дому и прогуливалась мимо амбаровъ, или садилась у рѣки.

Лѣтомъ я сижу, бывало, такъ до поздней ночи. Вначалѣ иногда вслѣдъ за мной выходила мать. Ко мнѣ она никогда не подходила. Она становилась у воротъ, оглядывалась во всѣ стороны и снова уходила. Мнѣ казалось, что я слышу, какъ она вздыхаетъ, глядя на меня издали.

Со временемъ и это прекратилось.

Я просиживала такъ одна цѣлыми часами, прислушиваясь къ журчанью маленькой рѣчки и къ плеску, который слышался каждый разъ, когда лягушки пры-



гали съ берега въ воду, или слѣдила глазами за какимъ-нибудь свѣтлымъ облачкомъ на небѣ...

Иногда я полудремала съ открытыми глазами.

Однажды до меня издалека донеслась грустная пѣсня. Голосъ былъ молодой и свѣжій и печалью отзывался во всемъ моемъ существѣ. То была еврейская пѣсенка.

— Это поетъ подручный лѣкаря, — подумала я, — другой не распѣвалъ бы такихъ пѣсенъ, а пѣлъ бы священные гимны.

У меня мелькнула мысль, что надо войти въ домъ, чтобъ не слышать такихъ пѣсенъ и не встрѣтиться съ «подручнымъ». Но я не двинулась съ мѣста. Я была какъ бы во снѣ, меня охватила истома, и я осталась, хотя сердце тревожно билось...

Между тѣмъ пѣсня раздается все ближе и ближе. Она то доносится съ того берега, то звучитъ уже на мосту.

Я слышу шаги на пескѣ. Мнѣ снова хочется бѣжать, но ноги не повинуются, и я остаюсь на мѣстѣ.

Наконецъ онъ приблизился къ тому мѣсту, гдѣ я сидѣла.

— Это ты, Лія?

Я не отвѣчаю.

Шумъ въ ушахъ усиливается, въ вискахъ стучитъ все сильнѣе и сильнѣе, и мнѣ кажется, что никогда я не слышала такого ласковаго, нѣжнаго голоса.

Онъ мало смущается моимъ молчаніемъ, садится подлѣ меня на бревно и глядитъ прямо въ лицо.

Я не подымаю глазъ, не вижу его взгляда, но чувствую, какъ горитъ мое лицо.

— Ты красивая дѣвушка, Лія, мнѣ жаль тебя.

Мнѣ захотѣлось рыдать, и я убѣжала.

Слѣдующій и третій вечеръ я уже не выходила. Но на четвертый, въ пятницу, мнѣ стало такъ тяжело на сердцѣ, что я не въ силахъ была не выйти; мнѣ казалось, что я задохнусь въ комнатѣ. Должно быть, онъ поджидалъ меня гдѣ-нибудь въ тѣни за домомъ. Какъ

только я усѣлась на своемъ обычномъ мѣстѣ, онъ выросъ передо мной, какъ изъ-подъ земли.

— Не убѣгай отъ меня, — сказалъ онъ задушевнымъ голосомъ. — Повѣрь мнѣ, я тебѣ не сдѣлаю ничего дурного.

Его ровный и нѣжный голосъ успокоилъ меня.

Онъ затянулъ тихую, грустную пѣсню, и у меня снова выступили слезы на глазахъ. Я не могла удержаться и тихо заплакала.

— Отчего ты плачешь, — сказалъ онъ, прервавъ пѣніе и взявъ меня за руку.

— Ты поешь такъ грустно, — отвѣтила я и отняла руку.

— Я сирота, одинъ... на чужбинѣ.

Кто-то показался на улицѣ, и мы разбѣжались въ разныя стороны.

Я запомнила эту пѣсенку и пѣла ее каждую ночь, лежа въ постели. Съ нею я засыпала, съ нею просыпалась. Но все же я часто плакала и сожалѣла о томъ, что познакомилась съ подручнымъ фельдшера, который одѣвается, какъ «нѣмецъ» — по новомодному, и бреетъ бороду. Если бъ онъ велъ себя хотя бы какъ старый фельдшеръ и былъ бы, по крайней мѣрѣ, набожнымъ евреемъ... Я была увѣрена, что отецъ умретъ, Боже упаси, отъ огорченія, какъ только узнаетъ объ этомъ, а мать наложитъ на себя руки. Тайна лежала тяжелымъ камнемъ на моемъ сердцѣ. Случалось ли мнѣ подойти къ постели отца, чтобы подать ему что-нибудь, возвращалась ли домой мать, каждый разъ я вспоминала о своемъ грѣхѣ, и у меня начинали дрожать руки и ноги, и въ лицѣ не оставалось ни кровинки. Тѣмъ не менѣе я каждый день обѣщала, что и завтра выйду къ нему. У меня не было причинъ избѣгать его, — онъ не бралъ меня больше за руку, не называлъ красивой дѣвушкой и только говорилъ со мной, училъ всевозможнымъ пѣсенкамъ... Только однажды онъ принесъ мнѣ лакомство — кусокъ рожка.

— Возьми, Лія!

Я не беру.

— Почему? — спрашиваетъ онъ съ грустью въ голосѣ. — Почему ты не хочешь принять отъ меня?

У меня вырвалось: «Охотнѣе съѣла бы кусокъ хлѣба».

*

Не помню, какъ долго продолжались наши встрѣчи. Но однажды онъ пришелъ печальнѣе обыкновеннаго. Я сейчасъ же замѣтила это и спросила, что съ нимъ.

— Я долженъ уѣхать.

— Куда? — спросила я упавшимъ голосомъ.

— Отбывать воинскую повинность.

Я схватила его за руку.

— Тебя возьмутъ въ солдаты?

— Нѣтъ, — отвѣтилъ онъ и сильно сжалъ мою руку. — Я нездоровъ, у меня слабое сердце. Въ солдаты меня не возьмутъ, но призываться я долженъ.

— Ты вернешься?

— Конечно.

Съ минуту мы оба молчали.

— Но это протянется нѣсколько недѣль, — прибавилъ онъ.

Я молчу, а онъ смотритъ на меня съ мольбой.

— Будешь скучать по мнѣ?

— Да. — Я сама едва разслышала свой отвѣтъ.

Мы снова умолкли.

— Попрощаемся!

Моя рука еще лежала въ его рукѣ.

— Будь здоровъ, — проговорила я дрожащимъ голосомъ.

Онъ наклонился, поцѣловалъ меня и быстро ушелъ.

Я долго стояла въ забытьи.

— Лія!

Я услышала голосъ матери, прежній, нѣжный, радостный голосъ, какъ бывало въ то время, когда отецъ еще былъ здоровъ.

— Леечка!

Давно уже такъ не называли меня. Меня снова бросило въ жаръ, и съ неостывшими еще отъ поцѣлуя губами я вбѣжала въ домъ. Но я не узнала нашей комнаты. На столѣ стояло два чужихъ подсвѣчника съ зажженными свѣчами, водка и пряники. Отецъ сидѣлъ на стулѣ, облокотясь на подушку. Каждая морщинка на его лицѣ ликовала. Вокругъ стола стояли чужіе стулья, на нихъ сидѣли чужіе люди. Мать обнимаетъ меня, цѣлуетъ и прижимаетъ къ груди.

— «Мазелъ-товъ»*, дочь моя, дочурка, Леечка, «мазелъ-товъ».

Я не понимаю, что творится вокругъ меня, но сердце мое сжимается и бьется, бьется такъ пугливо! Когда мать выпустила меня изъ своихъ объятій, отецъ меня подозвалъ къ себѣ. Силы покинули меня. Я опустилась передъ нимъ на колѣни и прижалась головой къ его груди.

— Дитя мое, — заговорилъ онъ, гладя меня по головѣ и перебирая мои волосы, — ты не будешь больше терпѣть голода и нужды... дитя мое, ты не должна будешь больше ходить нагой и необутой... ты будешь богатой... будешь платить за обученіе своихъ братьевъ... ихъ не станутъ больше выгонять изъ хедера, и намъ поможешь... я выздоровѣю...

— И знаешь, кто твой женихъ? — радостно спрашиваетъ мать. — Самъ ребъ Занвиль! Самъ ребъ Занвиль прислалъ свата!..

*

Не знаю, что со мною было, но очнулась я въ постели средь бѣла дня.

— Слава Богу! — воскликнула мать.

— Слава Его святому имени! — произнесъ за нею отецъ.

---

* Поздравляю.

И меня снова стали обнимать и цѣловать... варенья подали!..

— Не хочу ли я воды съ сиропомъ? Не хочу ли вина?

Я снова закрыла глаза и разразилась сдавленнымъ плачемъ.

— Это хорошо! — обрадовалась мать. — Пусть выплачется мое бѣдное дитя! Мы сами виноваты, — сразу сообщили ей такую радостную вѣсть, такъ неожиданно! Съ ней могъ бы, Боже упаси, сдѣлаться ударъ! Но теперь, слава Богу! Поплачь, дитя мое, отведи душу, пусть вмѣстѣ со слезами уйдутъ всѣ горести и начнется новая жизнь! Новая жизнь...

У каждаго человѣка есть два ангела — ангелъ добра и ангелъ зла, и я была увѣрена, что ангелъ добра велитъ мнѣ забыть «подручнаго» лѣкаря, ѣсть варенье ребъ Занвиля, пить его сиропъ съ водою и одѣваться на его счетъ, тогда какъ ангелъ зла велитъ мнѣ, чтобы я разъ навсегда заявила отцу и матери, что я не хочу этого, не хочу ни за какія блага. Ребъ Занвиля я еще не знала. Я, можетъ быть, и видѣла его когда-нибудь, но забыла, или не знала, что это ребъ Занвиль... Но за глаза я ненавидѣла его.

Двѣ ночи кряду мнѣ снилось, будто я иду къ вѣнцу. Мой женихъ — ребъ Занвиль. Меня семь разъ обводятъ вокругъ него... Но ноги мои онѣмѣли. Дружки высоко поднимаютъ меня и несутъ. Потомъ меня ведутъ домой.

Мать, приплясывая, выходитъ на встрѣчу... Подаютъ свадебный ужинъ.

Я боюсь поднять глаза. Я увѣрена, что увижу слѣпого, одноглазаго старика съ длиннымъ, предлиннымъ носомъ... Холодный потъ выступаетъ на всемъ моемъ тѣлѣ... Внезапно онъ наклоняется и шепчетъ мнѣ на ухо:

— Лія, ты красивая дѣвушка!

Но голосъ совсѣмъ не старческій... это голосъ другого... Я пріоткрываю глаза — другой стоитъ предо мною...

— Тсъ! — таинственно шепчетъ онъ. — Не говори никому. Я завлекъ ребъ Занвиля въ лѣсъ, сунулъ его въ мѣшокъ, привязалъ камень и бросилъ въ рѣку. (Такую исторію разсказывала мнѣ когда-то мать.) Теперь я здѣсь, на его мѣстѣ!

Я въ ужасѣ просыпаюсь. Сквозь скважину ставни пробивается блѣдный лучь луны и освѣщаетъ всю комнату. Теперь только я замѣчаю, что посреди потолка снова виситъ лампа, отецъ и мать спятъ на перинахъ, отецъ улыбается во снѣ, мать дышитъ спокойно... И добрый ангелъ говоритъ мнѣ: «Если ты будешь доброй и послушной дѣвушкой, то твой отецъ выздоровѣетъ, мать на старости лѣтъ не должна будетъ такъ много и такъ тяжело трудиться, твои братья станутъ учеными раввинами, сдѣлаются именитыми людьми, ты будешь платить за нихъ меламедамъ».

— Но цѣловать, — нашептываетъ злой ангелъ, — будетъ тебя ребъ Занвиль... Онъ прильнетъ къ тебѣ своими влажными усами... Онъ обниметъ тебя костлявыми руками... Онъ будетъ мучить тебя такъ же, какъ прежнихъ женъ, онъ молодою вгонитъ тебя въ гробъ, а тотъ пріѣдетъ и будетъ страдать, не станетъ больше учить пѣснямъ, и ты не будешь просиживать съ нимъ всѣ вечера... ты будешь сидѣть съ ребъ Занвилемъ.

— Нѣтъ! Тысячу разъ нѣтъ! Порвать «тноимъ»! *

Я не спала уже до утра.

Первой проснулась мать. Мнѣ хочется поговорить съ ней, но я привыкла въ минуту опасности всегда обращаться за помощью къ отцу.

Вотъ просыпается и отецъ.

— Знаешь, Сореле, я чувствую себя совсѣмъ, совсѣмъ хорошо. Увидишь, сегодня я выйду изъ дому.

— Хвала Его святому имени! И все благодаря нашей дочери, и все благодаря ея святому заступничеству.

* Обручальный актъ.

— И лѣкарь-таки правъ, молоко мнѣ кажется очень вкуснымъ...

Они замолчали, и добрый ангелъ снова заговорилъ во мнѣ:

«Если ты будешь доброй и покорной дѣвушкой, отецъ твой выздоровѣетъ; если же съ устъ твоихъ сорвется грѣшное слово — онъ умретъ по твоей винѣ».

— Слышишь, Сореле, — продолжаетъ отецъ, — довольно тебѣ быть торговкой.

— Что ты городишь?

— То, что ты слышишь! Я сегодня же пойду къ Занвилю... Онъ дастъ мнѣ должность, или же дастъ взаймы нѣсколько рублей. Мы откроемъ лавочку. Я буду немножко стоять за прилавкомъ, ты немножко — потомъ я начну торговать хлѣбомъ...

— Дай Богъ!

— Конечно, Богъ дастъ! Сегодня, когда ты будешь набирать свадебные наряды, возьми и для себя... хоть на два платья. И почему бы и не взять? Онъ велѣлъ взять все, что нужно. Не пойти же тебѣ въ синагогу въ такомъ нарядѣ, когда женихъ будетъ «призванъ къ Торѣ»*.

— Что ты говоришь! — отвѣчаетъ мать. — Важнѣе дѣтямъ сшить что-нибудь. Рувимъ бѣгаетъ босикомъ, онъ на прошлой недѣлѣ занозилъ себѣ ногу и до сихъ поръ хромаетъ... Дѣло идетъ къ зимѣ, имъ нужны рубашки, фуфайки, нужны и пальтишки.

— Возьми для всѣхъ!

— Слышишь? — говоритъ добрый ангелъ, — если ты произнесешь грѣшное слово, твоя мать останется безъ новаго платья, а ты вѣдь знаешь, что старое совсѣмъ износилось и виситъ клочьями, твои братья будутъ въ самые сильные морозы бѣгать босикомъ въ хедеръ, а лѣтомъ ноги ихъ будутъ искалѣчены занозами.

---

* Въ субботу, предшествующую вѣнчанію, при чтеніи одной изъ главъ Завѣта на амвонѣ присутствуетъ и женихъ.

— Я скажу тебѣ по правдѣ, — заявляетъ мать, — нужно было бы все опредѣленно оговорить заранѣе: вѣдь очень добрымъ человѣкомъ его назвать нельзя... Нужно оговорить, сколько онъ оставитъ ей, потому что наслѣдниковъ будетъ видимо-невидимо. Если не настоящее завѣщаніе, то пусть по крайней мѣрѣ дастъ простую расписку. Сколько еще можетъ прожить такой, какъ онъ? Еще годъ, два...

— При хорошей жизни, — вздыхаетъ отецъ, — живутъ долго.

— Долго! Не забудь, что ему семьдесятъ... Иногда... иногда мнѣ кажется, будто у него мертвѣетъ кожа подъ ушами...

А злой ангелъ нашептываетъ мнѣ: «Если ты будешь молчать, ты пойдешь къ вѣнцу съ мертвецомъ, мертвецу ты достанешься»...

Мать вздыхаетъ.

— Все въ рукахъ Божіихъ, — говоритъ отецъ.

Мать вздыхаетъ снова, а отецъ продолжаетъ:

— И что можно было подѣлать?.. Развѣ былъ какой-нибудь лучшій исходъ? Конечно, если бъ я былъ здоровъ и могъ зарабатывать, если бы былъ хоть кусокъ хлѣба въ домѣ...

Онъ не кончаетъ. Мнѣ кажется, что въ сердцѣ отца что-то зарыдало.

— Будь она хоть года на два моложе, я пошелъ бы на крайность... Я знаю... рискнулъ бы въ лотереѣ.

Я молчу.

*

Мой семидесятилѣтній женихъ далъ денегъ на свадебные наряды, нѣсколько сотъ злотыхъ далъ отцу и на мое имя «дополнительную расписку»* на 150 злотыхъ.

Люди говорили: выгодная партія.

---

* Кромѣ основного свадебнаго акта.

Я вновь обрѣла подругъ. Подруга въ атласномъ платьѣ съ золотой цѣпочкой и часами заходила ко мнѣ по два-три раза на день. Она была счастлива, что я не отстала отъ нея, — что мы вѣнчаемся въ одинъ мѣсяцъ. Были у меня и другія подруги, но эта ни на минуту не отходила отъ меня: «Тѣ, другія вѣдь «сморкатыя дѣвчонки», кто знаетъ, сколько онѣ еще въ дѣвушкахъ насидятся».

Женихъ Ривке былъ издалека, но жить они будутъ у ея родныхъ еще два-три года. Все это время мы будемъ жить душа въ душу: она будетъ забѣгать ко мнѣ на чашку цикорія, я къ ней, а въ субботу вслѣдъ за послѣобѣденнымъ сномъ на чашку бульона.

— А когда я буду рожать, — спросила меня однажды Ривке, и лицо ея просіяло, — будешь ли ты сидѣть у моего изголовья?

Я молчу.

— Пустяки! И чего ты такъ печалишься? Случается и въ 70 лѣтъ тоже...

— Э! — продолжаетъ утѣшать Ривке — Богъ захочетъ — и вѣникъ стрѣляетъ!.. А если и нѣтъ, какъ долго, думаешь ты, онъ протянетъ? Не можетъ же человѣкъ жить вѣчно! Такое счастье мнѣ, какой ты будешь молодой и красивой вдовой, — пальчики облизать.

Ривке не желаетъ ребъ Занвилю дурного, хотя онъ и порядочная дрянь! Ту жену онъ тиранилъ, но она была больная, а я крѣпка, какъ орѣхъ... со мной онъ будетъ обращаться хорошо, и какъ еще хорошо...

*

«Онъ» возвратился!

Отцу дѣйствительно стало лучше, но однажды ему захотѣлось сухихъ банокъ — безъ этого онъ боялся выйти изъ дому. Онъ чувствуетъ, что отъ лежачей и сидячей жизни вся кровь скопилась въ одномъ мѣстѣ. Надо разогнать ее! Кромѣ того, у него немного ломитъ спину, а противъ этого банки — испытанное средство.

Я задрожала, какъ въ лихорадкѣ: ставитъ банки не самъ фельдшеръ, а его «подручный».

— Ты пойдешь за лѣкаремъ? — спрашиваетъ меня отецъ.

— Что ты? — перебиваетъ мать, — дѣвушка невѣста...

Пошла мать.

— Почему ты такъ блѣдна, дочь моя? — спрашиваетъ отецъ съ испугомъ.

— Такъ, ничего.

— Уже нѣсколько дней... — допытывается отецъ.

— Тебѣ это кажется.

— Мать тоже говоритъ.

— Пустяки.

— Сегодня, — старается обрадовать меня отецъ, — тебѣ будутъ примѣрять твои свадебные наряды.

Я молчу.

— Ты совсѣмъ не рада?

— Почему же мнѣ не радоваться?

— Ты вѣдь не знаешь даже, что шьютъ тебѣ.

— Съ меня вѣдь сняли мѣрку.

Тѣмъ временемъ возвратилась мать съ самимъ фельдшеромъ.

У меня отлегло отъ сердца; но въ то же время мнѣ было больно чего-то: «Ты его никогда, можетъ быть, больше не увидишь», говорилъ мнѣ какой-то внутренній голосъ.

— Ну и свѣтъ, — вздыхаетъ фельдшеръ, входя въ комнату, кряхтя и запыхавшись, — ребъ Занвиль женится на молодой дѣвушкѣ, а Лейзерлъ, сынъ синагогальнаго старосты, становится «пóрушомъ*» — удралъ отъ своей жены!

— Лейзерлъ? — удивленно спрашиваетъ мать.

— Онъ самый. А я, шестидесятилѣтній старикъ, долженъ съ утра до ночи быть на ногахъ, тогда какъ мой подручный, молодой человѣкъ, ни съ того ни съ сего заболѣлъ.

* Отшельникъ.

Меня снова бросило въ жаръ.

— Не держите у себя такого гоя, — вставляетъ мать.

— Гой? Что значитъ — гой?..

— Что мнѣ до вашихъ сплетенъ, — нетерпѣливо обрываетъ отецъ, — дѣлайте лучше свое дѣло.

Отецъ мой, вообще, былъ добръ. Мнѣ всегда казалось, что онъ не въ состояніи и мухи обидѣть, и, не смотря на это, въ его словахъ чувствовалось глубокое пренебреженіе къ фельдшеру.

Будучи пригвожденъ къ постели, онъ бывалъ счастливъ, когда заходилъ кто-нибудь побесѣдовать съ нимъ; съ однимъ только фельдшеромъ онъ никогда не могъ слова сказать, — онъ постоянно обрывалъ его посреди рѣчи, побуждая его дѣлать свое дѣло. Только теперь я впервые такъ сильно почувствовала это. У меня сжалось сердце. Я подумала, что онъ еще хуже обошелся бы съ «подручнымъ», который теперь лежитъ въ постели.

Чѣмъ онъ боленъ?

Говоритъ, что у него порокъ сердца.

Что это за болѣзнь, я не знала, — должно быть, это что-то такое, отъ чего иногда ложатся въ постель. Тѣмъ не менѣе, сердце подсказывало мнѣ, что и на меня падаетъ часть вины въ этомъ.

Ночью я плакала во снѣ; мать разбудила меня и сѣла у моего изголовья.

— Успокойся, дитя мое: не станемъ будить отца. — И мы продолжали нашъ разговоръ шопотомъ.

Я замѣтила, что мать сильно встревожена. Она глядитъ на меня испытующе и хочетъ что-то вывѣдать, но я твердо рѣшила ничего не говорить ей, по крайней мѣрѣ, пока спитъ отецъ.

— Отчего ты плакала, дитя мое?

— Не знаю, мама.

— Здорова ли ты?

Да, мамочка! Временами только у меня болитъ голова.

Она сидѣла, опершись на кровать. Я придвинулась и склонила свою голову къ ней на грудь.

— Мама, — спрашиваю, — почему у тебя такъ сильно бьется сердце?

— Отъ страха, дочка моя.

— Ты тоже боишься по ночамъ?

— И днемъ, и ночью, — я постоянно боюсь.

— Чего ты боишься?..

— Я боюсь за тебя...

— За меня?

Мать не отвѣчаетъ, но я чувствую, что ея горячая слеза скатилась ко мнѣ на лицо.

— Ты плачешь, мамочка?

Слезы падаютъ все чаще и чаще.

«Не скажу», рѣшаю я твердо.

Черезъ нѣкоторое время она внезапно спрашиваетъ меня?

— Не говорила ли тебѣ чего-нибудь Ривке?

— О чемъ, мама?

— О твоемъ женихѣ?

— Откуда ей знать моего жениха?

— Если бы она знала его, то не говорила бы; но такъ, знаешь, мало ли что говорятъ въ городѣ... Отъ зависти... Еврей богачъ — въ силахъ еще на старости лѣтъ взять молодую дѣвушку... Навѣрное чешутъ языки, я знаю? Не говорила ли она тебѣ, что онъ послѣднюю жену замучилъ до смерти?

Я совершенно хладнокровно отвѣчаю, что слышала нѣчто подобное, но отъ кого — не помню.

— Навѣрное отъ Ривке — чтобъ ей только ротъ скривило, — сердится мать.

— Отчего же, — спрашиваю я, — она такъ внезапно умерла?

— Отчего? У нея былъ порокъ сердца...

— Развѣ отъ порока сердца умираютъ?..

— Конечно...

Меня, какъ обухомъ, по головѣ ударило. . . . .
. . . .

Я сдѣлалась примѣрной дочерью, всюду хвалили меня. Не говоря уже объ отцѣ и матери, но даже портной никакъ не могъ взять въ толкъ, почему это я ничего не прошу для себя. Мать дѣлала все, что хотѣла, она покупала то, что ей нравилось, выбирала матерію и наряды по своему вкусу...

Ривке рвала на себѣ волосы: какъ это можно въ такихъ вопросахъ полагаться на мать — женщину стараго покроя?! Вѣдь ты не сумѣешь въ субботу показаться ни въ синагогу, ни на улицу, никуда!

— Ты губишь себя! — заканчивала она.

Мнѣ пришло въ голову, что моя жизнь давно загублена, и я спокойно стала ждать «Субботы Утѣшенія»*, когда должны были пригласить жениха на «кидушъ»**...

Потомъ будетъ «призывъ къ Торѣ», а потомъ свадьба.

Отцу въ самомъ дѣлѣ лучше. Онъ иногда выходитъ изъ дому, понемногу начинаетъ освѣдомляться о цѣнахъ на хлѣбъ. Говоритъ, какъ онъ предполагалъ, съ женихомъ по поводу займа онъ считалъ еще преждевременнымъ. Онъ разсчитываетъ въ «Субботу Утѣшенія» пригласить Занвиля къ ужину, а послѣ ужина намекнуть объ этомъ.

— Разъ дѣла такъ поправились, — сказалъ какъ-то отецъ, — надо отослать долгъ лѣкарю, хотя мы теперь и пользуемся кредитомъ. Онъ не требуетъ, не присылаетъ больше подручнаго, а приходитъ самъ, но всетаки пора уже и покончить съ нимъ счеты.

Сколько ему было послано — я не знаю, деньги отнесъ Авремеле, который долженъ былъ по пути въ хедеръ занести фельдшеру нѣсколько злотыхъ. Но всетаки подручный пришелъ!

— Что? Мало прислалъ? — спросилъ отецъ.

---

* Суббота, въ которую читается глава изъ кн. пр. Исаіи: «Утѣшайте народъ мой».

** Благословеніе надъ чашей въ субботу и праздники.

— Нѣтъ, ребъ Іегуда, — я пришелъ проститься.

— Со мной? — спрашиваетъ удивленно отецъ.

Какъ только онъ вошелъ, я опустилась, почти упала на первый попавшійся стулъ. Но, услышавъ послѣднія слова, быстро встала, и въ моей головѣ промелькнула мысль, что я должна защитить его, не дать въ обиду.

До этого, однако, не дошло.

— Я захаживалъ къ вамъ, — заговорилъ онъ своимъ мягкимъ, проникающимъ въ душу грустнымъ голосомъ. — Теперь я уѣзжаю навсегда... Я думалъ...

— Ну, ну, прекрасно, — прервалъ отецъ уже болѣе привѣтливо. — Садись, молодой человѣкъ, — это даже очень хорошо съ твоей стороны, что ты помнишь почтенныхъ людей, очень хорошо...

— Дочка, — обращается онъ ко мнѣ, — надо угостить его чѣмъ-нибудь!

Тотъ вскочилъ блѣдный, съ дрожащими губами и сверкающими глазами... Однако, тотчасъ же лицо его снова измѣнилось и сдѣлалось грустнымъ, какъ прежде.

— Нѣтъ, ребъ Іегуда, мнѣ ничего не нужно, спасибо. Прощайте!

Онъ никому не протянулъ руки и едва взглянулъ на меня.

Въ этомъ взглядѣ проскользнулъ все-таки упрекъ. Мнѣ казалось, что онъ обвиняетъ меня, что онъ не проститъ мнѣ, — *чего,* я и сама хорошенько не знала...

Я снова лишилась чувствъ.

— Уже въ третій разъ! — слышу я, обращается мать къ отцу.

— Ничего, въ такіе годы это случается... только Боже упаси, чтобъ ребъ Занвиль узналъ, онъ откажется... довольно у него уже было больныхъ женъ.

Больною я не была.

Въ обморокъ я упала всего еще одинъ разъ во время свадебнаго ужина, когда впервые какъ слѣдуетъ разглядѣла ребъ Занвиля.

И только...

Даже вчера, когда лѣкарь, выходя отъ моего мужа, ребъ Занвиля, которому онъ ежемѣсячно обрѣзаетъ вростающія въ пальцы ногти, спросилъ меня, помню ли я его подручнаго, и разсказалъ, что онъ умеръ въ варшавскомъ госпиталѣ — я тоже не упала въ обморокъ и еле обронила слезу. Я сама не замѣтила ея, но лѣкарю слеза эта понравилась.

— Вы добрая, — сказалъ онъ, и тогда только я почувствовала ее на щекѣ.

Вотъ и все...

Я здорова. Уже пять лѣтъ, какъ я живу съ ребъ Занвилемъ...

Какъ я живу, — объ этомъ я, можетъ быть, разскажу вамъ когда-нибудь въ другой разъ.

Гнѣвъ женщины

Маленькая комната мрачна, какъ царящая въ ней нужда, на которую плачется все въ этихъ четырехъ стѣнахъ... На ободранномъ потолкѣ торчитъ крюкъ, осиротѣвшій послѣ висѣвшей на немъ мѣдной люстры. Громадная облупленная печь, «опоясанная на чреслахъ» грубымъ мѣшкомъ, стоитъ, накренившись на бокъ, и грустно глядитъ на своего мрачнаго сосѣда — на пустой черный очагъ, на которомъ стоитъ лишь опрокинутый горшокъ съ обгорѣлыми краями, да въ сторонѣ валяется поломанная ложка. Эта жестяная героиня обрѣла честную смерть: она пала въ борьбѣ съ затвердѣвшей, просохшей, вчерашней кашей!

Комната полна всякой мебели: красуется высокая кровать съ разорванными занавѣсками, сквозь дыры которыхъ подушки, безъ наволочекъ, смотрятъ своими красными, мутными отъ перьевъ, глазами; стоитъ колыбель, въ которой виднѣется большая рыжеватая головка спящаго ребенка, сундукъ, обитый жестью, съ открытымъ висячимъ замкомъ, — богатствъ большихъ тамъ, видно, ужъ нѣтъ; потомъ столъ съ тремя табуретами. Вся мебель нѣкогда была окрашена накрасно, теперь она грязновато-сѣрая... Прибавьте еще шкафъ, бочку съ водой, помойный ушатъ, кочергу съ лопатой, — и вы поймете, что въ эту комнату больше и булавки всунуть некуда...

И все-таки тамъ сидятъ *онъ* и *она*.

Она — еврейка среднихъ лѣтъ — сидитъ на сундукѣ, наполняющемъ собою все пространство между кроватью и колыбелькой. Справа отъ нея единственное маленькое зеленое оконце, слѣва — столъ. Она вяжетъ чулокъ, качаетъ ногой колыбель и прислушивается, какъ онъ за столомъ читаетъ Талмудъ. Онъ читаетъ жалобно-пѣвучимъ голосомъ, читаетъ неспокойно, прерывисто, нервно. Часть словъ онъ проглатываетъ, часть растягиваетъ; одни отхватываетъ разомъ, другія совсѣмъ пропускаетъ; мѣстами онъ подчеркиваетъ и читаетъ съ любовью, мѣстами сыплетъ равнодушно, точно горохъ изъ мѣшка. И все время въ движеніи: то онъ выхватываетъ изъ кармана свой нѣкогда цѣлый и красный платокъ, третъ имъ носъ, стираетъ потъ съ лица и лба; то опускаетъ платокъ на колѣни и принимается крутить свои пейсы, дергать свою острую съ легкой просѣдью бородку. Вотъ онъ вырвалъ волосъ, кладетъ его на фоліантъ и начинаетъ хлопать себя по колѣнямъ. Ага, платокъ! Онъ хватаетъ его, бросаетъ одинъ конецъ въ ротъ и начинаетъ жевать его, попеременно перекидывая одну ногу на другую...

И все время блѣдный лобъ его морщится и вдоль и поперекъ, на переносицѣ глубочайшая борозда, длинныя вѣки почти исчезаютъ подъ нависшей кожей лба. Вдругъ ему кажется, что его кольнуло въ груди, и онъ ударяетъ по ней правой рукой; потомъ схватитъ понюшку табаку, раскачнется еще больше, голосъ звенитъ, табуретъ трещитъ, столъ поскрипываетъ!

Ребенокъ не просыпается — онъ привыкъ къ этой музыкѣ.

А она, преждевременно состарившаяся жена, сидитъ и не нарадуется на мужа. Она не спускаетъ съ него глазъ, ловитъ каждый звукъ его голоса... Время отъ времени она вздыхаетъ:

— Вотъ, — думаетъ она, — если бъ онъ такъ годился для *этого* свѣта, какъ для *того,* то и здѣсь мнѣ было

бы свѣтло и хорошо... и здѣсь... Ну! — утѣшаетъ она себя, — кто же это удостоивается вкусить отъ обѣихъ трапезъ?..

Она вслушивается. Ея сморщенное лицо также поминутно мѣняется: она тоже нервна!

Только что на лицѣ ея было разлито безмѣрное удовольствіе, она столько наслажденія черпала изъ его Торы... И вдругъ она вспоминаетъ, что сегодня ужъ четвергъ, что на субботу нѣтъ ни гроша, — и райское сіяніе на ея лицѣ становится все темнѣе и темнѣе, пока улыбка совсѣмъ не исчезаетъ съ ея лица... Потомъ она бросаетъ взглядъ черезъ позеленѣвшее стекло, смотритъ на солнце — должно быть, поздно, а дома и ложки горячей воды нѣтъ, — спицы останавливаются въ рукѣ, мрачная тѣнь покрываетъ ея лицо. Она бросаетъ взглядъ на ребенка: онъ спитъ ужъ неспокойно, онъ скоро проснется; для больного ребенка нѣтъ ни капли молока. Тѣнь уже превратилась въ тучу, спицы въ ея рукѣ начинаютъ дрожать, прыгать...

А когда она еще вспоминаетъ, что ужъ близка Пасха... что сережки и подсвѣчники заложены, сундукъ — пустъ, люстра — продана, то спицы начинаютъ ужъ плясать убійственно скоро, туча становится темносиней, тяжелой, въ маленькихъ сѣрыхъ глазахъ, чуть видныхъ изъ-подъ платка на головѣ, показываются молніи!

Онъ — все еще сидитъ и читаетъ. Онъ не видитъ, что надвигается гроза, что опасность все увеличивается... что она выпустила чулокъ изъ руки, начинаетъ ломать свои исхудавшіе пальцы, морщитъ лобъ отъ боли, одинъ глазъ закрывается, а другой смотритъ на него такъ убійственно остро, что, замѣть онъ этотъ взглядъ, онъ весь похолодѣлъ бы отъ ужаса... Онъ не видитъ, какъ дрожатъ ея посинѣвшія губы, какъ челюсть трясется, зубъ на зубъ не попадаетъ... какъ она сдерживаетъ себя изо всѣхъ силъ, но громъ такъ и рвется наружу, и достаточно малѣйшаго повода, чтобъ онъ вырвался изъ ея устъ...

И этотъ поводъ нашелся...

Онъ читаетъ: «Шма минейтлосъ»... и съ тягучимъ припѣвомъ переводитъ: «Изъ этого, стало быть, вытекаетъ»... Онъ хочетъ сказать: «Три», но было достаточно и слова «вытекаетъ»... За него ухватилось наболѣвшее сердце, это слово упало, точно искра въ порохъ.

Ея долготерпѣніе лопается. Несчастное слово раскрываетъ всѣ закрытыя шлюзы, разбиваетъ всѣ затворы... Внѣ себя она подскакиваетъ къ мужу съ пѣной на губахъ, готовая вцѣпиться ему прямо въ лицо.

— Вытекаетъ, говоришь ты, вытекаетъ? А, чтобъ ты вытекъ, Боже мой! — кричитъ она хриплымъ отъ злости голосомъ. — Да, да, продолжаетъ она шипя, — скоро Пасха... четвергъ... ребенокъ боленъ... ни капли молока!..

У нея захватываетъ дыханіе, впалая грудь высоко подымается, глаза мечутъ искры.

Онъ точно окаменѣлъ. Онъ вскакиваетъ съ табурета блѣдный, задыхаясь отъ испуга, и начинаетъ отступать къ двери.

Они стоятъ другъ противъ друга и смотрятъ: онъ глазами, стеклянными отъ страха, она — горящими отъ гнѣва. Онъ, однако, скоро замѣчаетъ, что отъ злобы она не владѣетъ ни языкомъ, ни руками. Глаза его становятся все меньше. Онъ хватаетъ конецъ платка въ ротъ, отодвигается еще немного и, съ трудомъ переводя дыханіе, бормочетъ:

— Слушай, ты, женщина... знаешь ты, что значитъ bitul toiro? — мѣшать мужу учить Тору, а?.. Все заработки, а?! а кто даетъ птицѣ небесной?.. Все еще не вѣритъ въ Бога! все соблазнъ, все лишь *этотъ* міръ... Глупая баба... злая!.. не давать заниматься мужу... за это вѣдь — адъ!..

Она молчитъ, и онъ становится смѣлѣе. Лицо ея дѣлается все блѣднѣе, она дрожитъ все больше, и, чѣмъ больше она дрожитъ и блѣднѣетъ, тѣмъ тверже и громче звучитъ его голосъ:

— Адъ!.. Пламя!.. За языкъ повѣсить! Всѣ четыре казни Верховнаго Судилища!..

Она молчитъ, лицо ея бѣло, какъ мѣлъ.

Онъ чувствуетъ, что поступаетъ нехорошо, что не долженъ такъ ее мучить, что это нечестно, но онъ ужъ не въ силахъ сдержаться. Все злое, что у него было на душѣ, онъ теперь высыпаетъ безъ всякаго удержу.

— А ты знаешь, что это значитъ? — голосъ его становится громовымъ, — skilo — это значитъ: бросить въ яму и закидать камнями! Sreifo, — продолжаетъ онъ и самъ удивляется своей дерзости, — sreifo — значитъ: влить въ нутро ложку растопленнаго, кипящаго свинца! Hereg: отрубить голову мечемъ... вотъ такъ! — и онъ дѣлаетъ движеніе вокругъ шеи. — А теперь chenek... удавить... слышишь? — удавить! Ты понимаешь — bitul toiro! Все это за bitul toiro?

У него у самого сердце сжимается отъ жалости къ своей жертвѣ, но онъ вѣдь въ первый разъ одерживаетъ верхъ... Это его опьяняетъ. Такая глупая женщина! Онъ совершенно не зналъ до сихъ поръ, что ее можно такъ напугать...

— Вотъ что значитъ bitul toiro! — выкрикиваетъ онъ еще разъ и сразу... умолкаетъ — вѣдь она можетъ прійти въ себя и схватить метлу! Онъ бѣжитъ назадъ къ столу, захлопываетъ фоліантъ и выбѣгаетъ изъ комнаты.

— Я иду въ синагогу! — кричитъ онъ ей ужъ болѣе мягкимъ голосомъ и закрываетъ за собой дверь.

Крики и стукъ дверью разбудили больного ребенка. Онъ медленно поднимаетъ отяжелѣвшія вѣки, желтое, какъ воскъ, лицо искривляется, и изъ опухшаго носика начинаетъ вырываться свистящее дыханіе.

Но она точно окаменѣла. Она все еще внѣ себя стоитъ на своемъ мѣстѣ и не слышитъ голоса ребенка.

— А! — вырывается, наконецъ, изъ ея сдавленной груди хриплый голосъ, — вотъ какъ... ни *этого* свѣта, ни *того*... вѣшать — говоритъ онъ — горячая смола... свинецъ... говоритъ онъ! bitul toiro!

— Ничего, *мнѣ* ничего!..— клокочетъ въ ея растерзанной груди,—тутъ голодъ...ни одежды...ни подсвѣчниковъ..

ничего... ребенокъ голоденъ... ни капли молока... а тамъ... вѣшать... вѣшать за языкъ... bitul toiro говоритъ онъ...

— Вѣшать... ха! ха! ха! — вырывается у нея полный отчаянія крикъ, — вѣшать, хорошо, но — здѣсь! сейчасъ... все равно!.. зачѣмъ ждать?..

Ребенокъ начинаетъ плакать все громче, но она ничего не слышитъ.

— Веревку! веревку! — кричитъ она и блуждающими глазами ищетъ по всѣмъ угламъ.

— Веревку гдѣ достать?.. Пусть онъ моихъ костей ужъ не найдетъ! Уйти хоть отъ *здѣшняго* ада!.. Пусть онъ знаетъ! Пусть онъ станетъ матерью... пусть! Пусть я пропаду! Разъ помирать!.. Одинъ конецъ!.. Пусть же будетъ конецъ разъ навсегда!.. Веревку!..

И послѣднее слово вырывается изъ ея горла, какъ крикъ о помощи во время пожара.

Она вспоминаетъ, гдѣ лежитъ веревка... да, подъ печкой... думали на зиму печь перевязать, она, должно быть, еще тамъ..

Она подбѣгаетъ и находитъ веревку: о радость — она кладъ нашла! Она бросаетъ взглядъ на потолокъ — крюкъ виситъ... Нужно лишь вскочить на столъ.

Она вскакиваетъ...

Но сверху она вдругъ видитъ, что испуганный, ослабѣвшій ребенокъ поднялся, перегибается черезъ колыбельку, хочетъ вылѣзть! Вотъ, вотъ онъ упадетъ!

— Мама! — едва выкрикиваетъ ребенокъ своимъ слабымъ горлышкомъ. Ее охватываетъ новый приливъ гнѣва.

Она бросаетъ веревку, соскакиваетъ со стола, бѣжитъ къ ребенку, кидаетъ его головку назадъ на подушку и злобно кричитъ:

— Выродокъ! даже повѣситься не даетъ мнѣ! даже повѣситься спокойно! Сосать ужъ ему хочется! сосать!.. О! ядъ будешь ты тянуть изъ моей груди! ядъ!

— На, обжора, на! — выкрикиваетъ она однимъ духомъ и суетъ ребенку въ ротъ свою изсохшую грудь:

— На, тяни... терзай!

Смерть музыканта

На кровати скелеть, обтянутый желтой, высохшей кожей. Михель-музыканть умираеть. Туть же на сундукѣ сидить жена его Мирль съ распухшими оть слезъ глазами. Восемь сыновей — всѣ музыканты — размѣстились въ тѣсной каморкѣ. Тихо. Никто не нарушаеть молчанія, говорить не о чемъ. Докторъ давно уже махнулъ рукой, фельдшеръ тоже; даже Рувимъ изъ богадѣльни, извѣстный спеціалисть по этой части, сказалъ, что надо оставить всякія надежды... Наслѣдства дѣлить не придется, саванъ и могилу дасть погребальное братство, а оть «кружка носильщиковъ» еще по рюмочкѣ перепадеть. Все просто и ясно, говорить не о чемъ. Одна только Мирль не хочеть поддаться! Сегодня она ворвалась съ отчаянными воплями въ синагогу. Теперь она пришла съ кладбища, гдѣ совершила «обмѣръ могилъ». Она все твердила свое: «Онъ умираеть за грѣхи дѣтей. Они не набожны, распущены, — за это Господь отнимаеть у нихъ отца»... «Оркестръ лишается своей красы, свадьбы потеряють всю свою прелесть; ни у одного еврея не будеть уже настоящаго веселья». Но Божьему милосердію нѣть границъ. Надо кричать, молить такъ, чтобы мертвые услышали! А они, родныя дѣти, музыкантишки*, жалости у нихъ нѣть, «цицисъ»** не носять... Если бы не тяжкіе грѣхи... Есть же у нея на небѣ дядя, шойхеть, онъ тамъ, навѣр-

* Въ оригиналѣ непереводимое выраженіе: «Klesmerjungen».
** Нити видѣнія.

ное, одинъ изъ первыхъ, онъ бы ей не отказалъ. При жизни онъ, блаженной памяти, всегда ласково относился къ ней... Онъ и теперь, навѣрное, благоволитъ къ ней, онъ бы хлопоталъ, онъ бы все сдѣлалъ для нея... Но грѣхи, грѣхи! «Ѣздятъ на балы къ гоямъ, ѣдятъ тамъ хлѣбъ съ масломъ и Богъ знаетъ что еще!.. Безъ «цицисъ»!.. Не можетъ же онъ стѣну прошибить!.. Онъ, разумѣется, дѣлаетъ все возможное... Охъ, грѣхи, грѣхи!»

Сыновья не отвѣчаютъ, сидятъ потупившись, каждый въ своемъ углу.

— Еще не поздно! — всхлипываетъ она. — Дѣти, дѣти! Опомнитесь, дѣти! Покайтесь!

— Мирль, Мирль! — отзывается больной, — оставь, Мирль, уже поздно, я уже свое сыгралъ, Мирль; довольно, Мирль, я хочу умереть.

Мирль вспыхиваетъ.

— И подѣломъ!.. Умереть ему хочется, умереть... А я?.. А меня?.. Нѣтъ, я не позволю тебѣ умереть, ты долженъ жить, ты долженъ... Я такъ буду кричать, что смерть не осмѣлится подойти къ тебѣ!

Видно было, что въ душѣ Мирль открылась старая, не зажившая рана.

— Оставь, Мирль, — молитъ больной, — довольно мы проклинали другъ друга при жизни... Довольно... Передъ смертью не идетъ это... Охъ, Мирль, Мирль, оба мы грѣшили... Пусть ужъ будетъ конецъ... Замолчи лучше. Я все время чувствую, какъ холодная смерть отъ ногъ подползаетъ къ сердцу, какъ отмираетъ членъ за членомъ... Не кричи, Мирль. Такъ лучше.

— Потому что ты хочешь избавиться отъ меня, — перебиваетъ Мирль. — Ты всегда хотѣлъ избавиться отъ меня, — горько плачется она, — всегда! У тебя на умѣ постоянно была черная Песя... Ты всегда говорилъ, что ты хочешь умереть... Горе мнѣ, горе... Даже теперь онъ не хочетъ покаяться... Даже теперь... теперь...

— Не одна черная Песя, — горько улыбается больной. — Много ихъ было: и черныхъ, и бѣлокурыхъ, и рыжихъ. Но отъ тебя, Мирль, я никогда не желалъ избавиться... Дѣвица — дѣвицей. Волокитство-это уже въ музыкантской натурѣ... ноетъ, какъ нарывъ... Навожденіе какое-то... А жена — женой! Это вещи разныя... Помнишь, когда черная Песя задѣла тебя посреди улицы, я задалъ ей здоровую трепку... Молчи, Мирль! Жена остается женой! Развѣ если развестись... Да и тогда душа болитъ... Повѣрь, Мирль, я буду скучать по тебѣ, по васъ тоже, дѣти! Вы тоже принесли мнѣ много горя, но ничего... Таково уже вліяніе скрипки, — таковъ уже языкъ музыкантскій... Я знаю, вы относились ко мнѣ безъ должнаго уваженія, но все же вы любили меня. Если мнѣ случалось выпить лишнее, вы обзывали меня пьяницей... Такъ нельзя, отцу нельзя такъ говорить... Ну, что жъ... И у меня былъ отецъ, и я съ нимъ тоже не лучше обращался... Но довольно объ этомъ!.. Я прощаю васъ!..

Рѣчь эта утомила его.

— Я прощаю васъ, — началъ онъ снова черезъ нѣсколько секундъ. Онъ приподнялся на постели и обвелъ глазами окружающихъ.

— Взгляни на нихъ, на этихъ истукановъ, — заговорилъ онъ вдругъ, — уставились въ землю, какъ будто рта раскрыть не могутъ. - Что, все-таки жалко отца? Хоть и пьяницу, а жалко?

Младшій изъ сыновей поднялъ голову. Въ то же мгновеніе вѣки его задрожали, и онъ разразился громкимъ плачемъ. Остальные братья послѣдовали его примѣру. Черезъ минуту четырехъ аршинная комнатка огласилась громкими рыданіями.

Больной смотрѣлъ и таялъ отъ удовольствія.

— Ну, — спохватился онъ вдругъ, какъ бы вновь собравшись съ силами, — довольно, это слишкомъ вредно для меня... Довольно, дѣти, послушайтесь отца!

— Разбойникъ! — кричитъ Мирль, — разбойникъ! Пусть они плачутъ, — слезы ихъ могутъ помочь, Боже ты мой!..

— Молчи, Мирль, — перебиваетъ больной, — я уже говорилъ тебѣ, что я свое сыгралъ... Довольно... Эй! Хаимъ, Берлъ... Іона... Всѣ! Слушайте! Скорѣе! берите инструменты!

Всѣ смотрѣли на него широко раскрытыми глазами.

— Я приказываю, я прошу васъ! Сдѣлайте это для меня, возьмите инструменты и подойдите ближе къ постели.

Дѣти повиновались и окружили постель больного — три скрипки, кларнетъ, контрабасъ и труба...

— Я хочу услышать, какъ оркестръ будетъ играть безъ меня, — говоритъ больной. — А ты, Миреле, прошу тебя, кликни пока сосѣда.

Сосѣдъ былъ служкой въ «братствѣ носильщиковъ». Мирли не хотѣлось итти, но больной смотрѣлъ на нее съ такой мольбой, что она должна была повиноваться. (Впослѣдствіи она разсказывала, что это «Миреле» и предсмертный взглядъ были совсѣмъ такіе, какъ сейчасъ послѣ вѣнца... «Помните дѣти», повторяла она: «его сладкій голосъ и этотъ взглядъ!»)

Вошелъ служка братства, окинулъ взглядомъ больного и сказалъ:

— Потрудитесь, Мирль, созвать миньонъ*.

— Не надо, — отозвался больной, — на что мнѣ миньонъ, у меня свой миньонъ — мой оркестръ! Не ходи, Мирль, мнѣ не нуженъ миньонъ.

И, обернувшись къ дѣтямъ, онъ продолжалъ:

— Слушайте, дѣти... Играйте безъ меня, какъ со мною, играйте хорошо... Не нахальничайте на свадьбахъ бѣдняковъ... Почитайте мать. А теперь — сыграйте мнѣ отходную... Сосѣдъ будетъ читать...

И четырехъ аршинная каморка наполнилась звуками музыки.

---

* Десять человѣкъ.

Айзикль-рѣзникъ

I

БОГАЧЪ ВОСКРЕСАЕТЪ ИЗЪ МЕРТВЫХЪ, А МЕЛАМЕДЪ ВНЕЗАПНО УМИРАЕТЪ

Двадцать лѣтъ Авигдоръ былъ меламедомъ, двадцать лѣтъ обучалъ дѣтей самыхъ богатыхъ хозяевъ въ мѣстечкѣ — и вдругъ заболѣлъ. У него пошла горломъ кровь, онъ потерялъ голосъ и сильно исхудалъ.

— Жаль, — говорили въ мѣстечкѣ, — человѣкъ знающій и къ тому же хорошій меламедъ.

Авигдоръ былъ одинокъ, какъ перстъ. Пріѣхалъ онъ еще молодымъ человѣкомъ издалека и сразу взялся за обученіе дѣтей. Ни родственниковъ, ни близкихъ у него здѣсь нѣтъ. Онъ вдовецъ, имѣетъ четырехлѣтняго сынишку. Дѣти у него были недолговѣчны, а напослѣдокъ умерла отъ родовъ жена. Поистинѣ, пути Господа неисповѣдимы!

Но община позаботилась объ Авигдорѣ:

Во-первыхъ — рѣшили въ синагогѣ — нельзя отобрать у него учениковъ, съ голода умретъ. Правда, говорятъ, будто чахотка заразительна, но мало ли что говорятъ. Мы же знаемъ, что жизнь и смерть въ рукахъ Божіихъ. Безъ Его воли ангелу смерти нѣтъ доступа, волосъ не упадетъ съ головы человѣка.

Такъ рѣшили въ синагогѣ во время утренней молитвы и окончательно скрѣпили за вечерней молитвой, а все же ученики оставили ребъ Авигдора.

Испортилъ дѣло нѣкій выскочка, разбогатѣвшій еврей, двоюродный братъ мѣстнаго «мумхи» (фельдшера). За нимъ послѣдовали и другіе.

Но не можетъ же община равнодушно смотрѣть, какъ еврей, знатокъ Талмуда, умираетъ съ голода.

Нужно дѣйствовать! Этого требуютъ и благочестіе и справедливость. Вопросъ только — *кому* дѣйствовать. Вся синогога въ одинъ голосъ твердитъ, что обязанность помочь падаетъ на тѣхъ хозяевъ, которые отобрали у него своихъ дѣтей. Тѣ же говорятъ: «Евреи отвѣчаютъ другъ за друга», — поддержать еврея, знатока Талмуда, обязана вся община. Понятно, они не отказываются, сдѣлаютъ возможное, но взять на себя все — они не могутъ.

Тутъ возникаетъ другой вопросъ: откуда община возьметъ денегъ? Въ городѣ три представителя приходскихъ правленій, но главнымъ заправилой является ребъ Шмерль, человѣкъ набожный, уравновѣшенный, погруженный въ тихое, безмятежное благочестіе. И ребъ Шмерль утверждаетъ, что средствъ, которыми располагаетъ община, совершенно недостаточно, что община — дырявый мѣшокъ, — невозможно свести концы съ концами, и ему приходится тратить изъ собственнаго кармана. Остается одно изъ двухъ: либо развестись съ женой, которая мечетъ громы и молніи, либо отказаться отъ общественныхъ дѣлъ — и пусть другой попробуетъ запречься въ это ярмо! Но прихожане думаютъ, что это не такъ страшно, исходъ найдется: можно избрать другого старшину, или поискать новыхъ источниковъ дохода.

Можно, напримѣръ, сдѣлать новый налогъ на что-нибудь, — на субботнія свѣчи, на съѣстные припасы, мало-ли на что. Жидкія дрожжи уже сданы въ откупъ, такъ нужно сдѣлать налогъ на прессованныя, не то можно еще на три года сдать въ аренду баню, а, можетъ быть, лучше всего принять четвертаго рѣзника. Эти три рѣзника прямо золото загребаютъ, почему же

не зарабатывать и еще одному еврею, хотя бы онъ и не приходился ребъ Шмерлю родственникомъ? Кстати, кое-что перепадетъ и на долю общины. Къ налогу все равно придется прибѣгнуть: необходимо починить микву, не то женщинамъ прямо грозитъ опасность; уже нѣсколько лѣтъ талмудъ-тора бездѣйствуетъ, пора, давно пора открыть ее...

Если же члены общины не дадутъ своего согласія ни на то, ни на другое, то пусть они соберутъ между собою деньги, но таки порядочную сумму, чтобы было на что посмотрѣть! Женатыхъ молодыхъ людей, живущихъ на всемъ готовомъ у родителей, слава Богу, достаточно, — у нихъ и времени вдоволь и ноги здоровыя.

Пока тянулись эти разговоры, Авигдору отказали отъ квартиры, и онъ остался съ сынкомъ подъ открытымъ небомъ.

День они провели кое-какъ: посидѣли въ синагогѣ, заходили къ знакомымъ. Повсюду гостепріимные хозяева ихъ чѣмъ-нибудь да угощали, — рюмкой водки (мальчику давали *сладкую* водку), кусочкомъ пряника... Переночевать же имъ никто не предложилъ. Послѣ вечерней молитвы Авигдоръ съ сыномъ остались одни въ синагогѣ; поторопились уйти даже тѣ, которые обыкновенно оставались послѣ молитвы, чтобы посидѣть за душеспасительнымъ чтеніемъ.

Черезъ нѣкоторое время Авигдору стало холодно въ большой, пустой синагогѣ. Ребенокъ уснулъ на скамьѣ; отецъ не сталъ его будить, и одинъ пошелъ въ пекарню, гдѣ работали всю ночь. Ему позволили присѣсть, и онъ усѣлся у стѣны, близь топившейся печки. Пріятное тепло подѣйствовало на него, и онъ уснулъ. Никто не будилъ его, и Авигдоръ проспалъ до поздняго утра.

На слѣдующую ночь онъ привелъ и мальчика погрѣться. Онъ занялъ прежнее мѣсто, мальчикъ сѣлъ возлѣ него и положилъ голову отцу на колѣни. Такъ они оба проспали ночь.

Продолжалось это нѣсколько дней. Потомъ какимъ-то образомъ объ этомъ провѣдала полиція, и поднялась цѣлая кутерьма. Пекарь чуть не угодилъ въ тюрьму; онъ съ трудомъ откупился нѣсколькими рублями, и далъ подписку, что Авигдора и на порогъ не пуститъ. Скажите, пожалуйста, какое полиціи дѣло до того, что Авигдоръ — еврей большой учености? Нѣсколько хозяевъ обратились съ просьбой, куда слѣдуетъ, но какое значеніе въ наше время имѣетъ просьба еврея?

Авигдоръ сталъ ночевать въ банѣ — и опять та же исторія. Снова вмѣшалась полиція, и пригрозила закрыть баню и микву. Настаивать было бы очень рисковано: зданіе дѣйствительно вотъ-вотъ рухнетъ; заикнись только — запечатаютъ, и будетъ стоить тысячу! По сей день осталось неизвѣстнымъ, кто донесъ, но безъ доноса дѣло не обошлось, полиція первая никогда не вмѣшивается.

Теперь ни Авигдору, ни мальчику негдѣ было пріютиться, и они оставались въ холодной синагогѣ.

Жалость къ нимъ еще болѣе возросла. Замѣтили, что на нихъ прямо рубашки нѣтъ.

Теперь вся синагога признала, что забота объ Авигдорѣ падаетъ на общину. Но что тутъ можетъ подѣлать община? Толковали, толковали, и пришли къ заключенію, что сдать въ аренду баню еще на три года — невозможно: совершенная развалина, никто и гроша не дастъ, пока ея не починятъ.

Принять еще одного рѣзника опасно: дѣло не обойдется безъ распрей, а давно-ли изъ-за распрей по поводу рѣзника чуть не полгороду пришлось платить штафъ «за патенты»!.. Такова уже доля наша еврейская!..

Затѣмъ оказалось, что прессованными дрожжами въ большинствѣ случаевъ торгуютъ не евреи. Налога на съѣстные припасы не допустятъ ремесленники, а ремесленники и «братство могильщиковъ» — одна компанія. Сейчасъ вмѣшается и погребальное братство.

Противъ налога на птицу возстаетъ большинство зажиточныхъ хозяевъ. Они говорятъ, что или перестанутъ ѣсть птицу, если установятъ такой налогъ, или устроятся такъ, что ее будутъ рѣзать за городомъ. Къ рыбѣ и безъ того не подступиться... Откладывать дѣло въ долгій ящикъ тоже нельзя, — остается, слѣдовательно, одно: сдѣлать сборъ среди прихожанъ. Поговариваютъ о томъ, кому съ кѣмъ пойти.

Но человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ.

Однажды, въ самый обыкновенный будній день, тишина, обычно господствовавшая на базарѣ, смѣнилась необыкновеннымъ оживленіемъ. Орель-извозчикъ, сидя въ бричкѣ, запряженной не лошадьми — львами, летитъ сломя голову, не разбирая дороги по рытвинамъ, ухабамъ, туда и обратно... Отъ грохота оглохнуть можно. Въ бричкѣ сидитъ ребъ Гавріэль, поддерживаемый съ правой стороны своей второй (а можетъ быть, уже третьей) женой, а съ лѣвой — мѣстнымъ «мумхой». Оба они поочередно подталкиваютъ извозчика въ спину, понукая его: «Поѣзжай, поѣзжай! Скорѣе, разбойникъ! Пусть десять лошадей погибнутъ вмѣсто одного человѣка».

У ребъ Гавріэля, не про васъ будь сказано, заворотъ кишекъ. Ему уже, слышно, и ртуть давали, а шопотомъ передаютъ, будто онъ уже и мускусъ принималъ. Спасти его можетъ раньше Богъ, а потомъ Орель со своими рысаками. Пока же дѣло плохо! Старый служка погребальнаго братства, видавшій на своемъ вѣку больше мертвецовъ, чѣмъ иной — живыхъ людей, говоритъ, что если кишка не выпрямится послѣ этой скачки по базару, то больше надѣяться не на что. Нужно очень большое заступничество *тамъ*, необходимо безграничное милосердіе Господа... Откуда-то привезли доктора, но и тотъ призналъ, что все въ рукахъ Божіихъ...

О сборѣ денегъ для Авигдора какъ-то вдругъ перестали говорить. Почему-же, собственно, — никто не рѣшается высказать причину, но всякій ее знаетъ. Оче-

редной старшина погребальнаго братства заважничалъ, сталъ даже старикамъ говорить «ты», и ужъ никому и понюшки табаку не дастъ, на поклонъ едва кивнетъ. Онъ знаетъ, что власть теперь въ его рукахъ!

А у общины съ ребъ Гавріэлемъ давніе счеты, и денегъ хватитъ теперь не на одного Авигдора. Человѣкъ ребъ Гавріэль богатый, имѣетъ три дома, двѣ лавки, о наличныхъ деньгахъ и говорить нечего, а дѣтей у него нѣтъ... И ничего онъ никогда не даетъ: ни въ одну кружку не броситъ ни гроша, не дастъ ничего на пасхальные опрѣсноки для бѣдныхъ, ни тарелочнаго сбора, ни для кружки раби Меера-Чудотворца, ни бѣдняка никогда не пригласитъ на субботу... На Пуримѣ онъ какъ разъ заболѣваетъ и велитъ запереть окна и двери. Со времени своей послѣдней женитьбы (а этому будетъ ужъ лѣтъ двадцать) онъ даже ни разу не угостилъ прихожанъ пряникомъ и водкой.

Зла, Боже упаси, ему никто не желаетъ. Еврей остается евреемъ, и къ Богу съ совѣтами никто соваться не станетъ, но — что правда, то правда.

У Ореля-извозчика уже пала одна лошадь, и старшина погребальнаго братства еще больше храбрости набрался: жены даже пересталъ бояться!..

Въ наши дни хоть и рѣдко, но все-же случаются чудеса. Ребъ Гавріэль пожертвовалъ въ синагогу нѣсколько фунтовъ свѣчей, и это возымѣло свое дѣйствіе: онъ воскресъ изъ мертвыхъ.

А ребъ Авигдоръ внезапно умеръ.

II

ПОХОРОНЫ

Похороны на долю Авигдора выпали рѣдкія: собрались всѣ, и старъ и младъ.

Но все же то были — я не нахожу другого слова — сухія похороны: ни вдовы не осталось, ни сиротъ.

Женщинамъ не за что уцѣпиться. Никто не падаетъ въ обморокъ; даже слезы какъ-то не льются. Бѣдный сирота еще не понимаетъ значенія словъ «могила», «умереть», лицо у него скорѣе испуганное, чѣмъ заплаканное. Тутъ дѣйствительно разжалобиться нечѣмъ. Если одна изъ женщинъ вспомнитъ о собственной горькой долѣ и заголоситъ, то крикъ остается висѣть въ воздухѣ, никто не поддержитъ, не продолжитъ, — и одинокій вопль застываетъ сейчасъ же, замираетъ въ пространствѣ.

Женщины поэтому скоро всѣ отстали.

Это замѣтилъ Іона Бацъ, очередной старшина «братства могильщиковъ», и крикнулъ имъ вслѣдъ:

— По домамъ, бабы, а? по домамъ? Похороны безъ слезъ все равно, что — не про васъ будь сказано — свадьба безъ музыки.

Женщины издали ругаютъ «долговязаго Іону», но все таки расходятся.

Расходятся понемногу и мужчины.

Вѣчно занятые лавочники да старики и слабые идутъ только до конца своей улицы. Другіе провожаютъ покойника до конца города и тамъ останавливаются, а, остановившись, стучатся въ первое попавшееся окно. Тамъ уже знаютъ, что это означаетъ, и выносятъ кружку воды. Провожавшіе польютъ себѣ на кончики ногтей, повздыхаютъ, произнесутъ соотвѣтствующую молитву и уходятъ каждый своей дорогой, чтобы снова взяться за прерванныя дѣла.

Молодожены, живущіе еще на иждивеніи родителей и занимающіеся изученіемъ Торы, бывало, учились у Авигдора, или вели съ нимъ диспуты, — и они провожаютъ его за городъ. Но до кладбища и они не доходятъ. День выдался прекрасный, свѣтлый, и они сворачиваютъ направо, къ рѣкѣ, чтобы тамъ умыть руки. Нѣкоторымъ хочется погулять, — спеціально для этого не стоитъ ходить за городъ, но разъ они уже тамъ, то почему не воспользоваться случаемъ?.. Иные собираются выкупаться.



Только нѣсколько меламедовъ засыпали могилу и подсказали сиротѣ слова заупокойной молитвы. Но и они спѣшатъ обратно въ хедера: ученики навѣрное тамъ уже «все вверхъ дномъ перевернули».

Дощечку съ надписью «здѣсь покоится...» — временный надгробный памятникъ, который навѣрное не будетъ замѣненъ другимъ, постояннымъ, укрѣпилъ на могилѣ Іона Бацъ, сыпя при этомъ всевозможными проклятіями на головы зажиточныхъ хозяевъ города: всѣ силы они у него отняли, выжали послѣдніе соки, а потомъ бросили, какъ корку выжатаго лимона.

«Носильщики» запираютъ кладбище.

До города около версты ходьбы. Солнце уже заходитъ. Придутъ къ вечерней молитвѣ и, пожалуй, еще успѣютъ пропустить по рюмкѣ... За работу уже все равно сѣсть не придется, и потому идутъ медленно, не переставая ругать богачей за ихъ жестокосердіе...

Они де относятся такъ не къ однимъ меламедамъ... Какъ они поступаютъ по отношенію къ бѣднякамъ вообще и ремесленникамъ въ частности? О покойникѣ позабыли, переходятъ къ невзгодамъ живыхъ... Бѣдняки состоятъ только въ кружкѣ могильщиковъ, ими верховодятъ богачи — члены погребальнаго братства. Первые работаютъ до седьмого пота, а вторые забираютъ денежки для родственниковъ старшинъ, для нѣсколькихъ бездѣльниковъ, лизоблюдовъ... Голосъ бѣдняка не имѣетъ никакого значенія. Кто выбираетъ кантора? Богачи! А спроси ихъ, развѣ могутъ они отличить настоящую трель отъ пѣтушинаго пѣнія? Развѣ они знаютъ толкъ въ настоящемъ пѣніи? И эти обжоры выбираютъ кантора! Кто назначаетъ рѣзниковъ! Старшина Шмерль — да сотрется имя его! Три рѣзника въ городѣ, и всѣ трое его родственники. Право, пора было бы возстать противъ этого, но что подѣлаешь, когда какъ разъ теперь такая дороговизна... Іона Бацъ у насъ собирался начать закупки для пирушки, которую братство устраиваетъ ежегодно, — но цѣны такія, что

просто не подступись... А во время дороговизны ремесленнику не до бунтовъ... Съ пирушки рѣчь переходитъ на прошлогодніе и послѣдніе выборы, — вездѣ обманъ, мошенничество и т. д.

Бѣдный сирота плетется сзади, всѣми позабытый, совсѣмъ оробѣвшій. Глаза глядятъ испуганно, худенькое личико все въ полосахъ — это слѣды слезъ, катившихся по грязнымъ щекамъ. Губки дрожатъ, — онъ еще не успокоился... Онъ даже голода не чувствуетъ, хотя съ утра ничего не ѣлъ.

Но дѣти не умѣютъ долго грустить. Вниманіе его привлекаютъ камни, лежащіе по обѣимъ сторонамъ шоссе. Черезъ каждые нѣсколько шаговъ лежитъ такой камень на бугоркѣ, поросшемъ травой. Издали камень смотритъ на него однимъ большимъ глазомъ, — онъ подходитъ ближе и видитъ, что это кругъ, съ написанной посрединѣ цифрой. Ему не интересно знать назначеніе камня, но онъ долженъ попытаться черезъ него перепрыгнуть. Удалось! Онъ спѣшитъ ко второму камню, прыгаетъ еще болѣе ловко, и спѣшитъ дальше, пока не обгоняетъ всю компанію.

— Смотри-ка, смотри, — сирота-то!

— Босой онъ, бѣдняжка, — со вздохомъ замѣчаетъ Іона Бацъ.

— Мои тоже ходятъ босикомъ, — отзывается Гешель-шапочникъ.

— Но они хоть не сироты, — говоритъ Іона.

— Фью! — свиснулъ Берель-кондитеръ. Это должно означать: много помогутъ родители, если они сами голыши.

День близится къ концу. Въ небѣ появляется подвижная туча ласточекъ. Воздухъ наполняется щебетаніемъ, шелестомъ ихъ крылышекъ... Стоитъ пискъ, шумъ, затѣваются игры... Играя, спускается нѣсколько ласточекъ внизъ, за ними падаютъ еще нѣсколько, описывая причудливые зигзаги, все ниже, ниже... Изумленный сиротка останавливается съ раскрытымъ ртомъ,

слѣдя за птичками. Черезъ минуту у него вырываются изъ горла какіе-то странные звуки: это онъ вздумалъ подражать ласточкамъ. Онъ начинаетъ подпрыгивать, какъ будто хочетъ подняться къ нимъ, хлопаетъ въ ладоши, съ восторгомъ глядя на веселое воздушное общество. Вдругъ онъ поднимаетъ камешекъ и начинаетъ прицѣливаться въ низко летающихъ птичекъ.

— Только что молился за покойнаго отца, — сердито говоритъ Гешель-шапочникъ. — Стоитъ рожать и воспитывать!

— Что понимаетъ ребенокъ? вступается Іона Бацъ.

— Даже новорожденный теленокъ, — говоритъ Гешель, — и тотъ мычитъ, когда уведутъ корову.

— На то вѣдь корова — мать, а не отецъ, а мальчикъ не теленокъ, — говоритъ кондитеръ.

Іона Бацъ зоветъ сироту:

— Поди-ка сюда, шельмецъ ты этакій!

Какъ не былъ мягокъ голосъ Іоны, но мальчикъ задрожалъ... Слетѣли съ его личика улыбка и радость, вмѣсто нихъ выступилъ тупой испугъ. Мальчикъ неохотно подошелъ.

Іона взялъ его за ручку.

— Пойдемъ, я отведу тебя домой.

— А гдѣ у собаки домъ? — шутитъ кондитеръ. Іона Бацъ задумывается, но не выпускаетъ ручки сироты.

Тихо вошли члены братства въ городъ. Никто изъ нихъ не замѣтилъ, что мальчикъ поранилъ себѣ ногу и прихрамываетъ.

Отъ страха онъ даже не вздохнулъ ни разу.

III

ІОНА БАЦЪ И ЕГО ТОВАРИЩИ

Они вошли въ городъ. Въ самомъ началѣ, тамъ гдѣ расходятся узкія улицы, изъ которыхъ одна ведетъ къ главной синагогѣ, а другая — къ синагогѣ брат-

ства могильщиковъ, Іона останавливаетъ своихъ спутниковъ и озабоченно спрашиваетъ:

— Что дѣлать съ сироткой?

— Жени его, — по обыкновенію остритъ кондитеръ.

— Веди его въ главную синагогу, — совѣтуетъ Гешель-шапочникъ.

— И только?

— Мало у тебя дѣтей? — спрашиваетъ кондитеръ.

— Пусть богачи заботятся.

Вступается Іона:

— А вы помните сына сумасшедшей Ханы?... Гдѣ онъ теперь?».

— Въ тюрьмѣ, — равнодушно замѣчаетъ кондитеръ.

— Ему тамъ лучше, чѣмъ моимъ у меня, — со вздохомъ говоритъ Гешель.

— Евреи! — серьезно говоритъ Іона, — не грѣшите передъ Богомъ такими словами.

— Ну?

— Слушайте, что я вамъ скажу, — измѣнившимся голосомъ продолжаетъ Іона. — Сирота пошелъ за нами... Это не спроста... Это, должно быть, такъ суждено свыше.

— Тоже сказалъ!

— Нѣтъ, не говорите такъ. Почему же онъ ни за кѣмъ не пошелъ, а остался съ нами?

— Мы ушли послѣдними...

— Это отъ Бога... Съ неба взираютъ на сиротъ... Мы не должны оставить его...

Оба пожимаютъ плечами. Іона сегодня что-то необычайно серьезенъ и кротокъ... Они глядятъ на ребенка и сами пугаются: передъ ними дрожащая, испуганная птичка. Сердце сжимается!

— Какъ тебя зовутъ, мальчикъ? — мягко спрашиваетъ кондитеръ.

— Довидль, — чуть слышно произноситъ ребенокъ.

— Ну? — спрашиваетъ Іона.

Они молчатъ.

— Посовѣтуйте же что-нибудь, — проситъ Іона.

Но товарищи уже стряхнули съ себя жалостливое настроеніе и больше не хотятъ смотрѣть на сироту.

— Возьми его къ себѣ, — говорятъ оба, не поднимая глазъ съ земли.

— А жена?

Они молчатъ. Имъ хорошо извѣстно, что въ домѣ Іоны бразды правленія находятся въ рукахъ его жены, что долговязый Іона уже по дорогѣ домой низко опускаетъ голову, а раньше, чѣмъ нажать ручку двери, подумаетъ, не найдется-ли у него еще какое-нибудь дѣло. Если такого не оказывается, сгибается онъ еще ниже. Въ комнатѣ онъ ходитъ, согнувшись въ три погибели... Іона-говорунъ, Іона-верховодъ: и душа каждой пирушки, каждаго собранія, любящій выпить, часто дающій волю рукамъ, Іона — гроза раввина и общины, — дома и рта раскрыть не можетъ — совсѣмъ неузнаваемъ человѣкъ.

— Она ему отравитъ жизнь, — говоритъ онъ. — Даже своимъ собственнымъ дѣтямъ она вздохнуть не даетъ, — прибавляетъ онъ печально.

— А на что *ты*, чтобы тебя черти побрали!

— Что подѣлаешь съ женщиной!

Всѣ молчатъ. Дѣйствительно, что подѣлаешь съ женщиной? Если надоѣстъ какой-нибудь зазнавшійся богачъ, Іона не постѣснится отколотить его; раввина оборветъ грубымъ словомъ, — спрячется такъ, что ты его долго не увидишь... Но женщина? Гдѣ найти защиту отъ женщины, съ ея причитываньями, криками и острыми ногтями? Тутъ уже нѣтъ спасенія.

— Знаешь что, Гешель, — вдругъ спохватывается Іона, какъ бы очнувшись отъ сна. — Возьми его къ себѣ.

— Съ ума ты спятилъ! Хороши теперь дѣла у меня, для своихъ хлѣба не хватаетъ.

— Тебѣ будутъ платить.
— Кто будетъ платить?
— Сколько ты хочешь въ недѣлю?
— По крайней мѣрѣ, рубль, — отвѣчаетъ Гешель. — Но кто же все-таки будетъ платить? — продолжаетъ онъ.

Всѣмъ извѣстно, что деньги всегда хранятся не у Іоны, а у Сореле, что у него даже нѣтъ на рюмку водки, хотя зарабатываетъ онъ недурно, — котельщикъ онъ, слава Богу, хорошій!

— А если изъ общины будутъ платить? — спрашиваетъ Іона.

— Ну, да такъ они и расщедрились!

Іона топнулъ ногой.

— *Должны* платить!

— Іо-на, — говоритъ кондитеръ, — сдержись! Не впутывайся въ общественныя дѣла! Давно уже не было раздора въ общинѣ? Хочешь снова раздуть пожаръ?

Гешель того же мнѣнія:

— Дайте мнѣ сироту, я отведу его въ синагогу.
— Я самъ его отведу, — рѣзко заявляетъ Іона.
— Такъ чего же ты пристаешь?..

Берель и Гешель пожимаютъ плечами и уходятъ.

Іона нѣсколько мгновеній стоитъ въ раздумьѣ, а потомъ кричитъ имъ вслѣдъ:

— Помни же, Гешель: за рубль въ недѣлю.
— Помню, помню, — отвѣчаетъ Гешель.
— Какой-то бѣсъ въ него вселился, прости Господи! — говоритъ кондитеръ.
— Ну, дѣйствительно жалко, — отвѣчаетъ Гешель.
— Понятно, жалко. Но знаешь, что я тебѣ скажу, братъ? Жалость—самое дорогое блюдо для бѣдняка.

Они сворачиваютъ въ сторону и заходятъ въ первый попавшійся кабачокъ.

Іона все еще стоитъ посреди улицы, держа сироту за руку. Онъ еще не пришелъ къ окончательному рѣшенію.

IV
ВЪ СИНАГОГѢ ПЕРЕДЪ ВЕЧЕРНЕЮ МОЛИТВОЮ

— Ты здѣсь зачѣмъ? — спрашиваютъ Іону, увидя его въ синагогѣ.

Въ городѣ, слава Богу, тихо. Всѣ успокоились, закурили трубки, и пошли обычные разговоры для времяпровожденія. О покойномъ Авигдорѣ сказано было много хорошаго — все, что можно было сказать. Перешли къ хлѣбнымъ сдѣлкамъ, заговорили о воинской повинности, о политикѣ... Объ эмиграціи тогда еще не знали.

Сироту встрѣтили ласково. Кто его ни замѣчалъ, останавливался, вздыхалъ. Кое-кто даже погладилъ его по головкѣ...

Вдругъ всѣ заволновались и устремили взоры на средину синагоги, гдѣ находится амвонъ. Тамъ появился Іона и поставилъ мальчика на столъ. Ребенокъ заплакалъ, — онъ хочетъ сойти со стола, хочетъ хоть сѣсть, ему страшно смотрѣть съ высоты на толпу. Но Іона не пускаетъ. Онъ крѣпко держитъ ребенка за воротникъ и старается его успокоить.

— Молчи, Довидль, молчи. Для тебя я стараюсь!

Мальчикъ продолжаетъ всхлипывать, но уже тише.

Отъ восточной стѣны кричитъ одинъ изъ богачей:

— Въ сапогахъ на амвонѣ! Прочь безбожникъ!

Іона узнаетъ голосъ говорящаго и отвѣчаетъ спокойно, но твердо:

— Не пугайся, Рувеле, не пугайся, праведникъ! Босикомъ стоитъ сиротка, — на немъ давно нѣтъ сапогъ.

И, разгоряченный собственными словами, онъ со злобой продолжаетъ:

— Стоять онъ здѣсь будетъ, пока богачи не позаботятся о немъ.

Заинтересованная публика молчитъ.

— Ему, положимъ, трудно стоять. Босикомъ онъ ходилъ и на кладбище, по дорогѣ поранилъ себѣ ногу... Но стоять онъ долженъ, прихожане! Долженъ потому, что онъ сирота, и некому позаботиться о немъ.

— Полюбуйся-ка на этого благодѣтеля! — кричитъ кто-то сзади.

— Молиться, молиться! — кричитъ другой.

— Канторъ, къ алтарю! — командуетъ синагогальный староста.

Іона съ такой силой ударяетъ кулакомъ по столу, что гулъ разносится по всей синагогѣ. Стоящіе поближе испуганно отскакиваютъ въ сторону. У амвона стоитъ даіонъ, ребъ Клейнимусъ. Во время описываемой сцены онъ успѣлъ окончить свое чтеніе и закрылъ свое измученное отъ напряженія, а можетъ быть, и отъ голода лицо руками. Вотъ онъ отнялъ руки отъ лица. Въ старческихъ выцвѣтшихъ глазахъ свѣтится нѣмая, глубокая скорбь.

— Іона, — робко говоритъ онъ, — нельзя силой.

— Молиться не дамъ! — кричитъ Іона, хватая съ амвона подсвѣчникъ.

Староста сѣлъ. Канторъ остановился на полпути къ алтарю.

— Ребе! — зло говоритъ Іона, обращаясь къ даіону. — Вы думаете, молиться хотятъ они? Боже упаси! Они хотятъ ужинать. Вѣдь жены уже готовятъ ужинъ. Ихъ ждетъ горячій супъ, хрустящіе бублики, кусокъ жирнаго мяса съ острымъ хрѣномъ. Можетъ быть и сладкая морковь. А сиротѣ ѣсть нечего.

— Не твое дѣло! — кричитъ кто-то, прячась за спинами. Ребъ Клейнимусъ снова закрываетъ лицо костлявыми руками, а Іона кричитъ въ отвѣтъ:

— Нѣтъ, мое дѣло! Вы разбѣжались съ похоронъ, какъ мыши, а сиротку оставили на меня. Но на то была не ваша, а Божья воля! Богъ знаетъ, что дѣлаетъ. Онъ знаетъ, что у бѣдняка есть милосердіе, что онъ не оставитъ безпомощнымъ сироту.

Мальчикъ начинаетъ понимать, о чемъ говорятъ. Онъ немного выпрямляется, правую ручку кладетъ Іонѣ на плечо, и такъ остается стоять, придерживая лѣвой рукой поврежденную ногу.

Единственная пуговица разорваннаго кафтанчика отстегнулась. Изъ подъ рваной рубашки выглядываетъ истощенное грязное тѣло. На лицѣ мелькаетъ странная, грустная улыбка... Онъ не боится толпы. Онъ чувствуетъ, что Іона Бацъ царитъ надъ всѣми, и что онъ опирается на Іону Баца.

— Смотрите, богачи! Смотрите, евреи милосердные! — мягко говоритъ Іона. — Сиротка босой, съ искалѣченной ногой.

— У меня найдутся сапожки. Старые, но цѣлые.

Іонѣ знакомъ этотъ голосъ.

— Хорошо, — говоритъ онъ, — это даритъ ребъ Іосель, начало хорошее! Но на мальчикѣ нѣтъ и рубашки.

Кто-то другой заявляетъ, что жена его навѣрное не поскупится и пожертвуетъ нѣсколько рубашекъ.

— Хорошо, — говоритъ Іона, — я уже знаю, Генеле не откажетъ. Ну, а верхняя одежда?

Кто-то обѣщаетъ и это. Іона все принимаетъ.

— Но кормить, — продолжаетъ Іона. — Кто кормить его будетъ? Почему молчитъ ребъ Шмерль? Почему не говоритъ глава общины?

Ребъ Шмерль, тучный еврей, съ нависшими бровями, совершенно закрывающими глаза, и заплывшимъ лицомъ, неподвижно сидитъ надъ Мишной.

— Здѣсь не мѣсто разбирать мірскія дѣла, — тихо и степенно говоритъ онъ, обращаясь къ обступившимъ его прихожанамъ. Эти слова въ минуту облетаютъ всю синагогу: «Ребъ Шмерль говоритъ, что тутъ не мѣсто для такихъ дѣлъ»...

— Пройдоха-еврей, — замѣчаетъ одинъ.

— Бисмаркъ!

— Просто карманщикъ, — тихо говоритъ кто-то.

Раздается другой голосъ отъ восточной стѣны.

— Іона! Послушайся меня, Іона! Оставь это!.. Сегодня четвергъ... уже вечеръ... Почему же непремѣнно сегодня? Нѣтъ ни обычая, ни закона, чтобы мѣшать молиться въ четвергъ... Иди теперь домой и приходи въ субботу утромъ... Останови тогда, пожалуй, выносъ Торы изъ кивота.

— А въ субботу, — обрываетъ его Іона, — ребъ Рахміэль помолится дома, поѣстъ и ляжетъ спать.. Правда?

Поднимается смѣхъ: глубокій сердцевѣдъ — Іона.

— Такъ чего же ты хочешь, Іона?

— Я? Я для себя ничего не хочу. Я хочу только накормить сироту.

— Кормить, прихожане, кормить сироту надо! — снова начинаетъ онъ. Невольно онъ впадаетъ въ тонъ погребальныхъ братчиковъ, возглашающихъ при «одѣваніи покойника»: «Два злотыхъ за мицвосъ! Три злотыхъ за мицвосъ!»* Въ синагогѣ становится веселѣе.

— Я беру его къ себѣ ужинать, — слышенъ голосъ.

— И то хорошо, — говоритъ Іона, — и то благо! Ребъ Іехіэлю засчитаютъ это великое благодѣяніе и на томъ и на этомъ свѣтѣ. Слышишь, сиротка, — обращается онъ къ ребенку, — доброе начало уже положено. Тебѣ уже нечего заботиться о сегодняшнемъ ужинѣ. А завтра? — онъ снова обращается къ говорившему, — завтра, что будетъ?

— Пусть онъ и позавтракаетъ у меня, — говоритъ тотъ же голосъ.

— А обѣдъ?

— Безбожникъ! — кричатъ со всѣхъ сторонъ, — вѣдь завтра пятница!

— А въ субботу что будетъ?—продолжаетъ Іона.

— Пусть и въ субботу придетъ ко мнѣ.

— А въ воскресенье, въ понедѣльникъ, во втор-

* Mizwos — дѣла благочестія.

никъ, словомъ, всю недѣлю, и опять въ субботу, и слѣдующую недѣлю что будетъ съ нимъ?

— Чего ты ко мнѣ присталъ? Развѣ я одинъ тутъ?

— Боже упаси, я обращаюсь ко всѣмъ. Если бъ у всѣхъ было такое еврейское сердце, какъ у васъ, сиротка давно бы уже не стоялъ на столѣ.

Молчаніе.

«Молиться»! Снова поднимается крикъ, шумъ.

— Пойдите за его женой, тогда онъ сейчасъ же убѣжитъ, — вдругъ посовѣтовалъ кто-то. Іону точно обухомъ по головѣ ударило. Долговязый, большой — Іона сразу сталъ смѣшнымъ, — онъ совершенно растерялся. Шутка попала въ него, какъ камень Давида въ Голіаѳа, прямо въ цѣль.

— Молиться, молиться! — кричатъ уже громче. Іона молчитъ, не поднимаетъ руки, въ которой все еще держитъ подсвѣчникъ. Куда вся его храбрость дѣвалась?..

V

НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ

И кто знаетъ, что сталось бы съ сиротой, если бы неожиданно не явилась помощь со стороны.

На ступеньки, ведущія къ святому ковчегу, вдругъ вскочилъ молодой человѣкъ съ густо обросшимъ лицомъ. На его темени торчала маленькая ермолка, изъ-подъ которой въ обѣ стороны развѣвались пейсы; изъ разстегнутаго кафтана виднѣлись цицисъ. Подъ широкимъ лбомъ сверкала пара горящихъ, безпокойныхъ глазъ.

Шумъ усилился.

— Глядите, глядите! Хаимъ-Шмуэль тутъ!

Мгновенно взоры всѣхъ обратились съ амвона къ ковчегу. Встревоженно поднялъ голову даже ребъ Шмерль, до сихъ поръ спокойно сидѣвшій надъ Мишной.

— Кто, кто? — спрашиваетъ онъ своимъ слащавымъ, приторнымъ голосомъ, въ которомъ все же слышится испугъ.

— Хаимъ-Шмуэль! Хаимъ-Шмуэль!

— Прихожане! — кричитъ молодой человѣкъ, стоя у ковчега, — запомните мои слова. Во всѣхъ нашихъ священныхъ книгахъ говорится, что Господь — отецъ сиротъ. Вы не должны отвернуться отъ сироты, не то, Боже упаси, вы сами оставите сиротъ!

— Прочь, нечестивецъ, отъ ковчега!

— Не кричите! Я хочу сказать вамъ правдивое слово, хорошее слово!

Хорошее слово всякому хочется услышать.

— Тише же!.. Вы евреи, — «сыны милостивцевъ». Сердце въ васъ еврейское. Почему же вы молчите? У васъ, вы говорите, карманы дырявые?

Поднимается смѣхъ.

— Не смѣйтесь, я далекъ отъ шутокъ. У васъ нѣтъ денегъ. Бѣдная община! У *васъ* нѣтъ денегъ, у *ребъ Шмерля* тоже нѣтъ... Такъ, что же остается? Деньги вамъ дамъ я!

При этихъ словахъ ребъ Шмерль начинаетъ безпокойно ерзать на своемъ мѣстѣ. Наконецъ, онъ закрываетъ Мишну, встаетъ и тоже поворачивается къ ковчегу.

— Іона! — кричитъ молодой человѣкъ, — ты уже рѣшилъ, кому отдать сироту?

— Ну, да, — отвѣчаетъ Іона, успѣвшій притти въ себя.

— Сколько это должно стоить?

— Рубль въ недѣлю.

— Хорошо, слушайте же, деньги даю я. Я буду платить рубль въ недѣлю.

— Ты, ты? — раздается со всѣхъ сторонъ. Всѣмъ извѣстно, что у молодого человѣка ни гроша за душой.

— Не свои деньги я буду давать. Слушайте же! Деньги будутъ не мои, а моего шурина Айзикля.

Поднимается шумъ. Теперь всѣ поняли, въ чемъ дѣло. У Айзикля имѣется разрѣшеніе на занятіе рѣзничествомъ.

Ребъ Шмерль блѣднѣетъ. Глаза его мечутъ искры, и онъ понемногу придвигается къ ковчегу. Но раньше, чѣмъ онъ пробивается туда, молодой человѣкъ успѣваетъ сказать:

— Мой шуринъ даетъ подписку, что будетъ платить за сироту рубль въ недѣлю до самой баръ-мицве... даже до его свадьбы...

И, видя ребъ Шмерля уже на первой ступенькѣ, онъ торопливо выкрикиваетъ:

— Налогъ будетъ только на птицу, только на птицу. Кричите всѣ: «Согласны!»

Присутствующимъ понравился этотъ подвохъ. Всѣ съ жаромъ закричали:

— Да, да! Согласны, согласны! Всѣ согласны!

Ребъ Шмерль уже стоялъ возлѣ молодого человѣка, уже успѣлъ схватить его за лацканъ, намѣреваясь стащить его внизъ, но крики: «Да... согласны!».. ошеломили его.

«Рѣзникъ-Айзикль!», въ послѣдній разъ крикнулъ Хаимъ-Шмуэль и прыгнулъ со ступенекъ направо, не желая столкнуться съ ребъ Шмерлемъ.

Ребъ Шмерль приходитъ въ себя и начинаетъ говорить, обращаясь къ даіону:

— Ребъ Клейнимусъ, ребъ Клейнимусъ, какъ вы допустили...

Но Хаимъ-Шмуэль уже накинулъ на себя талесъ, сталъ у амвона и громко выкрикиваетъ:

— «Вегу рахумъ» — «И Онъ милосерденъ»...

Присутствующіе, раскачиваясь, начинаютъ читать слова молитвы, и голосъ ребъ Шмерля тонетъ въ общемъ шумѣ.

Ребъ Клейнимусъ продолжаетъ стоять, закрывъ лицо руками.

Посыльный

Онъ идетъ, и вѣтеръ треплетъ полы его кафтана и бѣлую бороду.

Ежеминутно онъ хватается рукой за лѣвый бокъ, каждый разъ онъ чувствуетъ острую, колющую боль. Но онъ самому себѣ не хочетъ сознаться въ этомъ, онъ хочетъ уговорить себя, что только ощупываетъ боковой карманъ.

«Только бы не потерялъ деньги и контрактъ!» Этого одного онъ будто бы боится.

«А если даже колетъ, такъ что же изъ того... пустяки!»

«У меня еще, слава Богу, хватитъ силъ для такого конца. Другой въ мои годы не прошелъ бы и версты, я же, слава Богу, не нуждаюсь въ людской помощи, и самъ зарабатываю свой кусокъ хлѣба».

«Хвала Всевышнему, люди мнѣ деньги довѣряютъ».

«Если бы мнѣ принадлежало все то, что довѣряютъ мнѣ другіе, — продолжаетъ онъ свои размышленія, — я не былъ бы посыльнымъ въ семьдесятъ лѣтъ. Но если такъ угодно Господу Богу, то хорошо и это!»

Снѣгъ начинаетъ падать крупными хлопьями. Старикъ поминутно вытираетъ лицо.

«Мнѣ осталось пройти, — думаетъ онъ, — полмили. Тоже конецъ! Пустяки. Гораздо меньше, чѣмъ я прошелъ».

Онъ оборачивается. Не видно уже ни городской башни, ни костела, ни казармы. «Ну, Шмерль, двигай!»

И Шмерль ступаетъ по мокрому снѣгу. Его старыя ноги вязнутъ въ снѣгу, но онъ продолжаетъ итти.

«Слава Богу, вѣтеръ не сильный».

На его языкѣ сильнымъ вѣтромъ, должно быть, называется буря. Вѣтеръ былъ довольно сильный и билъ прямо въ лицо такъ, что поминутно у него захватывало дыханіе. Слезы выступали на его старыхъ глазахъ и кололи точно иглами. Но вѣдь глазами онъ всегда страдаетъ.

«На первыя же деньги», говоритъ онъ себѣ, «надо будетъ купить дорожныя очки, большія круглыя очки, которыя совсѣмъ закрывали бы глаза.

«Если бы Богъ захотѣлъ, я добился бы этого. Только бы имѣть каждый день, хотя одно порученіе куда-нибудь подальше!» Итти, благодареніе Богу, онъ еще въ силахъ и могъ бы кое-что съэкономить и на очки.

Собственно говоря, ему бы нужна и какая-нибудь шубенка, можетъ быть, тогда не кололо бы такъ въ груди, но пока у него есть вѣдь теплый кафтанъ.

Если бы только онъ не разлѣзался по швамъ, то было бы совсѣмъ хорошо. Онъ самодовольно улыбается. Это не изъ нынѣшнихъ кафтановъ, сшитыхъ на живую нитку изъ жидкаго, никуда не годнаго матеріала, — это старый, хорошій ластикъ, который переживетъ, пожалуй, и меня самого! Хорошо еще, что безъ шлица сзади, — по крайней мѣрѣ, полы не разлетаются во всѣ стороны. А спереди онѣ запахиваются чуть ли не на цѣлый аршинъ!..

Въ шубѣ было бы, конечно, лучше. Въ шубѣ такъ тепло... Очень тепло. Но все-таки сперва нужно пріобрѣсти очки. Шуба годится только зимой, а очки нужны всегда. Лѣтомъ, когда вѣтеръ сыплетъ пескомъ прямо въ глаза, пожалуй, еще хуже, чѣмъ зимой.

Итакъ, рѣшено: сперва очки, а потомъ уже шуба.

Если бы съ Божьей помощью онъ окончилъ прі-

емку пшеницы, онъ навѣрняка получилъ бы за это четыре злотыхъ.

И онъ плетется дальше. Мокрый, холодный снѣгъ залѣпляетъ ему глаза, вѣтеръ часъ отъ часу становится сильнѣе, колики въ боку усиливаются.

Если бы только перемѣнился вѣтеръ. Впрочемъ, такъ лучше: на обратномъ пути я еще больше устану, и тогда вѣтеръ будетъ дуть мнѣ въ спину. О, тогда я совсѣмъ иначе зашагаю! Вопросъ выясненъ, на душѣ легко.

Онъ принужденъ остановиться на минуту, чтобы перевести духъ. Это немного безпокоитъ его.

— Что бы это со мной могло случиться? Мало ли вьюгъ и морозовъ перенесъ я, будучи кантонистомъ?

И онъ вспоминаетъ свою военную службу, то время, когда онъ былъ николаевскимъ солдатомъ. Двадцать пять лѣтъ дѣйствительной службы подъ ружьемъ, не считая дѣтскаго возраста, когда онъ былъ кантонистомъ. Онъ не мало ходилъ на своемъ вѣку, маршировалъ по горамъ и долинамъ, и въ какія вьюги, въ какіе морозы! Деревья трещатъ, птицы замертво падаютъ на землю, а русскій солдатъ какъ ни въ чемъ не бывало бодро идетъ впередъ и еще пѣсенку распѣваетъ да камаринскаго или трепака отплясываетъ.

Мысль, что онъ выдержалъ тогдашнюю тридцатилѣтнюю службу съ ея тяжелыми испытаніями, перенесъ столько вьюгъ, морозовъ, столько лишеній, голода, жажды и домой здоровымъ вернулся, вызываетъ въ немъ чувство гордости.

Онъ распрямляетъ спину, гордо подымаетъ голову и шагаетъ съ удвоенной силой.

«Ха, ха! Что значитъ для меня такой морозецъ? Въ Россіи — тамъ было совсѣмъ другое дѣло».

Онъ продолжаетъ свой путь. Вѣтеръ немного стихаетъ. Становится темнѣе. Близится ночь.

«Тоже день, нечего сказать! Оглянуться не успѣешь»... И онъ ускоряетъ шаги, боясь, чтобъ ночь не застигла его на полпути. Не даромъ же онъ по субботамъ изучаетъ Тору въ синагогѣ. Онъ отлично знаетъ, что «надо выходить и возвращаться заблаговременно».

Онъ начинаетъ чувствовать голодъ, а когда онъ голоденъ, ему почему-то становится весело — такова ужъ у него привычка. Онъ знаетъ, что аппетитъ — вещь хорошая: купцы, у которыхъ онъ состоитъ на посылкахъ, вѣчно жалуются, что никогда не чувствуютъ голода. У него, слава Богу, всегда есть аппетитъ. Развѣ только, когда ему становится не по себѣ, какъ вчера, напримѣръ: онъ чувствовалъ себя нездоровымъ, и хлѣбъ показался ему кислымъ.

— Поди ты, чтобъ солдатскій хлѣбъ былъ кислый. Можетъ быть, когда-то, въ былыя времена, но не теперь. Теперь христіане пекутъ такой хлѣбъ, что еврейскихъ пекарей за поясъ заткнутъ. А хлѣбъ онъ купилъ свѣже испеченный. Одно удовольствіе рѣзать его. Но, дѣйствительно, самъ онъ былъ не совсѣмъ здоровъ, дрожь какая-то пробѣгала по всему тѣлу.

— Но слава Тому, Чье имя онъ не достоинъ произносить, это случается съ нимъ рѣдко!

Теперь у него снова появился аппетитъ, онъ даже запасся на дорогу кускомъ хлѣба съ сыромъ... Сыру ему дала жена купца, дай Богъ ей здоровья! Она-таки настоящая благотворительница, у нея истинно-еврейское сердце.

Если бы она только не бранилась такъ крѣпко, то была бы совсѣмъ славной женщиной!.. Онъ вспоминаетъ свою умершую жену.

— Точь въ точь, моя Шпринце! У той тоже было доброе сердце и привычка браниться за каждую мелочь. Кого бы изъ дѣтей я ни отсылалъ въ люди, она плакала навзрыдъ, несмотря на то, что дома ругала

ихъ самыми отборными словами. Что ужъ говорить, когда умиралъ кто-нибудь изъ нихъ! Она цѣлыми днями извивалась по полу, какъ змѣя, и колотила себя кулаками въ голову. Однажды она дошла даже до того, что хотѣла бросить камень въ небо!

— Подумаешь! Будто въ самомъ дѣлѣ Богъ обращаетъ вниманіе на глупую женщину! Но она ни за что не хотѣла выпустить изъ дому носилокъ съ покойникомъ. Она колотила женщинъ, а носильщикамъ вцѣпилась въ бороды.

И какая сила таилась въ этой Шпринце! На видъ — муха, а такая сила, такая сила.

— Но все-таки она была доброй женщиной. Даже ко мнѣ она не питала вражды, даромъ, что не находила никогда добраго слова для меня. Вѣчно требовала развода, не то, молъ, она такъ сбѣжитъ. Но какого ей тамъ развода хотѣлось!

Онъ о чемъ-то вспоминаетъ и самодовольно улыбается.

Случилось это много, много лѣтъ тому назадъ. Еще во времена откуповъ. Онъ былъ ночнымъ сторожемъ и по цѣлымъ ночамъ расхаживалъ у склада съ желѣзной палкой въ рукѣ. Службу онъ зналъ отлично, онъ прошелъ хорошую школу, въ полку имѣлъ превосходныхъ учителей!..

Было это зимой предъ разсвѣтомъ. Его смѣнилъ дневной сторожъ Хаимъ Іона — царствіе ему небесное. И Шмерль направился домой озябшій, окоченѣвшій отъ мороза. Онъ стучится въ дверь, а жена кричитъ ему изъ постели:

Провались ты сквозь землю! Я думала, что вернешься уже не ты, а тѣнь твоя.

Ого! Она сердита еще со вчерашняго дня. Онъ не помнитъ даже, что случилось вчера, но что-то *должно* же было случиться.

— Заткни свою глотку и открой дверь! — кричитъ онъ.

— Черепъ я тебѣ раскрою, — слышится короткій отвѣтъ. — Впусти!

— Провались ты сквозь землю!

Подумавъ немного, онъ направился въ синагогу. Тамъ онъ расположился за печкой и уснулъ. Къ его несчастію, случился какъ разъ угаръ, и его еле живого принесли домой...

Шутка сказать, что тогда вытворяла Шпринце. Позже немного онъ сталъ хорошо слышать все, что творилось вокругъ него.

Ей говорятъ: ничего опаснаго нѣтъ, онъ только угорѣлъ.

Такъ нѣтъ же! Ей непремѣнно доктора подавай. Она сейчасъ упадетъ въ обморокъ, бросится въ воду!.. И кричитъ благимъ матомъ: «Мужъ мой! Мужъ мой. Безцѣнный мой!»

Собравшись съ силами, онъ садится и спокойно спрашиваетъ:

— Ну, что Шпринце, хочешь разводъ?

— Прова... — Но она не докончила проклятія и разразилась громкимъ плачемъ...

— Какъ ты думаешь, Шмерль, Богъ накажетъ меня за мои проклятія, за мою злость?..

Но едва лишь онъ выздоровѣлъ — снова прежняя Шпринце: языкъ удержа не знаетъ, сильна, какъ чортъ, и запускаетъ свои когти, какъ настоящая кошка. Э-эхъ, жалко Шпринце! Она даже не дождалась радости отъ своихъ дѣтей.

Имъ, должно быть, хорошо живется тамъ, на чужбинѣ, — всѣ ремесленники. Съ ремесломъ нигдѣ не пропадешь съ голоду, силъ у нихъ, слава Богу, достаточно, — въ меня пошли, а то, что они не пишутъ, ну, такъ чтожъ? Сами они не умѣютъ, а другихъ просить... И что за вкусъ въ такомъ письмѣ? Что рыба безъ перцу! И, кромѣ того, — время... дѣти, молодыя, забывчивы... Имъ, должно быть, очень хорошо живется...

Только Шпринце, бѣдная, лежитъ въ землѣ. Жалко Шпринце.

— Какъ только прекратились откупа, она стала на себя не похожа. И то сказать, до того, какъ я пріучился къ своему теперешнему занятію посыльнаго, раньше, чѣмъ я научился говорить помѣщику: «ясновельможный панъ», вмѣсто «ваше благородіе», и мнѣ стали довѣрять и деньги, и документы, пришлось порядкомъ-таки поголодать...

Ну, я, мужчина, бывшій кантонистъ, могъ и не поѣсть денекъ-другой. Ей же, бѣдняжкѣ, это стоило жизни. Глупая женщина, чуть что, она теряетъ силы, подъ конецъ она и браниться не могла уже, какъ слѣдуетъ; куда дѣвалась вся ея прыть! Она только и умѣла, что плакать.

Это отравляло мнѣ жизнь. Не знаю почему, она стала вдругъ бояться меня. А когда она боиться, я начинаю куражиться, кричу и бранюсь. Кричу я ей: «Почему жрать не идешь ты?» Иногда она доводила меня до бѣшенства, до того, что я чуть ли не съ кулаками набрасывался на нее.

Но какъ бить плачущую женщину, когда она сидитъ сложа руки и съ мѣста не двинется? Только я побѣгу съ кулаками и поплюю на нихъ... а она говоритъ мнѣ: «Поѣшь ты раньше, а я послѣ поѣмъ.» И я принужденъ былъ сперва самъ поѣсть хлѣба, а ей предоставить остатки...

Иногда она для отвода глазъ усылала меня куданибудь на улицу: иди, я безъ тебя поѣмъ, — можетъ быть, ты заработаешь что — нибудь, и при этомъ старается улыбнуться и даже приласкаться иногда.

А когда я возвращался, то находилъ хлѣбъ почти нетронутымъ.

Она старалась, бывало, увѣрить меня, будто не можетъ ѣсть сухого хлѣба и будто ей нужна каша.

Онъ опускаетъ голову, точно на него навалили



тяжелую ношу, и грустныя мысли, одна другой быстрѣе проносятся въ его головѣ.

И какой ревъ подняла она, когда я хотѣлъ заложить свой субботній кафтанъ — тотъ, что теперь на мнѣ. Ужасъ, что она вытворяла и со всѣхъ ногъ побѣжала заложить свои мѣдные, субботніе подсвѣчники. И до самой своей смерти она молилась уже надъ свѣчами, вставленными въ картофель... Передъ смертью она призналась мнѣ, что никогда не хотѣла развода и что говорила это только со злости.

— Языкъ мой, языкъ мой! — вопила она, — Боже милосердный, прости мнѣ мой языкъ. И она такъ и умерла въ страхѣ, что ее на томъ свѣтѣ повѣсятъ за языкъ.

— Богъ, — говорила она, — не будетъ милосердъ ко мнѣ; черезчуръ ужъ много грѣшила я. Только когда ты прійдешь туда, — не скоро, Боже упаси, а черезъ сто двадцать лѣтъ, поскорѣй сними меня съ висѣлицы. Скажи Всевышнему, что ты простилъ меня...

Она уже почти потеряла сознаніе, какъ вдругъ стала звать дѣтей. Ей казалось, что они здѣсь, около нея, и она стала просить и у нихъ прощенія.

Глупая женщина, какъ будто кто-нибудь не простилъ ея.

Сколько ей было всего? Лѣтъ пятьдесятъ! Умерла такой молодой! Шутка сказать, когда человѣкъ все такъ близко принимаетъ къ сердцу. Когда уносилось что-нибудь изъ дому — ей казалось, что уносятъ часть ея собственнаго тѣла, половину ея здоровья.

Что ни день, она становилась все желтѣе и зеленѣе, и какъ-то вся высохла и ростомъ стала меньше.

Она говорила, что чувствуетъ, какъ у нея мозгъ въ костяхъ высыхаетъ...

Она знала, что умираетъ.

Какъ она любила домъ со всѣмъ, что въ немъ находилось! Что бы ни уносили — стулъ, желѣзную сковороду, что бы то ни было, она обливала все это

горькими слезами. Съ каждой вещью она прощалась, какъ мать съ ребенкомъ, чего вамъ больше — обнимала и чуть ли не цѣловала ихъ... «О, говорила она, когда я умру, васъ уже не будетъ въ домѣ».

Что говорить, женщина всегда останется дурой... То она казакъ въ юбкѣ, а чуть что — становится настоящимъ ребенкомъ. Подумаешь, не все ли равно, когда умираешь со стуломъ или безъ стула!..

— Фу! — прерываетъ онъ самъ себя — что только не приходитъ мнѣ въ голову... Изъ-за пустяковъ я зашагалъ совсѣмъ медленно.

— Ну, солдатскія ноги, живѣе ступайте! — командуетъ онъ.

Онъ оглядывается. Вокругъ него сплошной снѣгъ. Наверху — сѣрое небо, испещренное черными заплатами. — Совсѣмъ какъ моя нижняя бекета! — думаетъ онъ. — Неужели, Великій Боже, и у тебя нѣтъ кредита въ лавкѣ?..

Межъ тѣмъ морозъ усиливается. Борода и усы превратились въ сосульки. Дышать стало какъ будто легче, но голова горячая, на лбу выступили капли пота, и ноги что ни шагъ все больше устаютъ и зябнутъ. Ему хочется присѣсть, но онъ стыдится самого себя. Первый разъ въ жизни у него является потребность отдохнуть на такомъ небольшомъ пути — въ двѣ мили. Онъ не хочетъ сознаться, что ему уже за семьдесятъ и пора бы совсѣмъ на отдыхъ.

Но нѣтъ. Онъ долженъ итти. Итти не останавливаясь... Пока идешь — ноги несутъ тебя, но стоитъ поддаться искушенію и присѣсть, — и ты уже никуда не годенъ.

— Такъ и простудиться можно, — стращаетъ онъ самъ себя, всячески стараясь побороть въ себѣ сильное желаніе отдохнуть.

— Недалеко уже и до деревни, успѣю и тамъ отдохнуть.

— Непремѣнно надо будетъ отдохнуть. Я пойду

не прямо къ помѣщику... его приходится цѣлый часъ прождать на дворѣ... пойду сперва къ еврею.

— Хорошо еще, — думаетъ онъ, — что я не боюсь помѣщичьихъ собакъ; но ночью, когда спускаютъ Бураго, все таки становится опасно; у меня хотя съ собою мой ужинъ, а Бурый любитъ сыръ, но все же лучше раньше дать отдыхъ своимъ костямъ. Сперва я зайду къ еврею; погрѣюсь немного, помою руки, перекушу чего-нибудь...

И у него текутъ слюнки; онъ съ самаго утра ничего не ѣлъ. Но это пустяки, его не безпокоитъ то, что онъ голоденъ, это доставляетъ ему даже удовольствіе: если человѣкъ голоденъ, это признакъ, что онъ живетъ... Но ноги!..

Ему осталось пройти всего какихъ-нибудь двѣ версты; онъ различаетъ уже въ темнотѣ большіе сараи помѣщика... но ноги — онѣ ничего не видятъ, они все-таки требуютъ отдыха...

— Съ другой стороны — думаетъ онъ — что, если я и отдохну немножко? одну минутку, пол-минутки! Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ отдохнуть? Попробую. Такъ долго слушались меня мои ноги, *послушаюсь* и я ихъ хоть разъ.

И Шмерль садится въ сторонкѣ на снѣжный сугробъ. Теперь только онъ слышитъ, какъ сильно бьется его сердце, какъ сильно колетъ въ боку, и чувствуетъ, что холодный потъ выступилъ у него на лбу...

Ему становится страшно... Не заболѣваетъ ли онъ? При немъ чужія деньги! Онъ можетъ еще, Боже упаси, потерять сознаніе... Слава Богу, — утѣшаетъ онъ себя, что никого не видно! А даже, если бы и проходилъ кто-нибудь, ему и въ голову не прійдетъ что у меня деньги. Курамъ на смѣхъ — *кому* деньги довѣряютъ!..

Чуточку только посидѣть, а потомъ — валяй дальше! Но глаза его слипаются.

— Ну, вставай, Шмерль, вставай! — командуетъ онъ. Командовать онъ еще можетъ, но не такъ-то

легко выполнить. Онъ не въ состояніи и пошевельнуться. Но ему кажется, что онъ идетъ, идетъ все быстрѣе... Онъ уже видитъ передъ собою деревенскія избушки: здѣсь живетъ Антекъ, тамъ Василій, онъ всѣхъ ихъ знаетъ, нанимаетъ у нихъ подводы... Къ еврею еще далеко, но лучше пойти къ еврею... тамъ иногда и «мзуменъ»* застать можно. И ему кажется, что онъ идетъ къ домику еврея; но домикъ отодвигается все дальше и дальше... Должно быть, такъ и надо... Въ печкѣ горитъ веселый огонь, окошко свѣтится краснымъ, веселымъ свѣтомъ... Вѣроятно, толстая Мирль варитъ большой горшокъ картофелю, — она постоянно угощаетъ его картофелемъ, горячимъ, разсыпчатымъ картофелемъ!.. И онъ — кажется ему — подвигается дальше.

Морозъ немного спалъ. Снѣгъ начинаетъ падать большими, пушистыми хлопьями.

Морозу, повидимому, тоже стало теплѣе въ его снѣжной ризѣ... И кажется Шмерлю, что онъ уже въ комнатѣ у еврея. Мирль отцѣживаетъ картофель, онъ слышитъ, какъ журчитъ вода... Вода струится и съ его ластиковаго кафтана... Іона расхаживаетъ по комнатѣ и тихо напѣваетъ какую-то пѣсеньку. Привычка у него такая — напѣвать послѣ поздней вечерней молитвы, потому что тогда онъ голоденъ и ежеминутно понукаетъ жену: «Ну, Мирль!»

Но Мирль не торопится, — исподволь работается пріятнѣе.

«Сплю ли я и мнѣ снится все это?» Эта мысль смѣняется вдругъ пріятнымъ удивленіемъ: ему кажется, что дверь отворяется, и входитъ его старшій сынъ... Хоно! Хоно! О, онъ узнаетъ его! Но какъ онъ попалъ сюда? Хоно не узнаетъ отца и притворяется, будто ничего не знаетъ... Вотъ тебѣ и разъ!

* Если въ трапезѣ участвуетъ не меньше трехъ человѣкъ, они совокупно произносятъ потрапезную молитву.

Онъ разсказываетъ Іонѣ, что ѣдетъ къ отцу... разспрашиваетъ объ отцѣ... онъ не забылъ отца! А Іона хитритъ и не говоритъ ему, что отецъ сидитъ тутъ же на скамьѣ!.. Мирль занята, она суетится у печи, ей не до разговоровъ, — она растираетъ картофель большой деревянной ложкой и весело улыбается!

— О, Хоно, должно быть, разбогатѣлъ, сильно-разбогатѣлъ! Все на немъ новенькое... И цѣпочка!.. Можетъ быть, она поддѣльная? Нѣтъ, навѣрное изъ чистаго золота. Хоно не станетъ носить поддѣльной цѣпочки, Боже упаси...

— Ха, ха, ха! — Онъ бросаетъ взглядъ на печку... — Ха, ха, ха! — Онъ чуть не надрывается со смѣху. Іекель, Берель, Захарія... Всѣ трое... Ха, ха, ха! Они спрятались на печкѣ... ахъ, жулики!.. Ха, ха, ха!.. Жалко Шпринце, жалко! Хорошо было бы, если бы и она дождалась этой радости... Межъ тѣмъ Хоно заказываетъ къ ужину пару гусей... «Хоно, Хоно, ты не узнаешь меня?.. Вѣдь это я!..» И ему кажется, будто онъ цѣлуется со своимъ сыномъ...

— Слышишь Хоно, жаль матери, жаль, что она не видитъ тебя... Іекель, Берлъ, Захарія, долой съ печки! Я васъ сразу же узналъ. Слѣзайте же, я зналъ, что вы прійдете. Доказательство на лицо, — я принесъ вамъ сыръ, настоящій овечій сыръ!.. Взгляните-ка, ну, дѣти! Вы, помнится мнѣ, любили солдатскій хлѣбъ! Что, не правда?.. развѣ!.. Да, жалко мать!

И кажется ему, что всѣ четыре сына окружили его, цѣлуютъ, крѣпко прижимаютъ къ себѣ.

— «Вольно,» дѣтки! «Вольно!» Не прижимайте меня такъ сильно! Я уже не молодой человѣкъ, восьмой десятокъ уже пошелъ... — «Вольно!»... вы душите меня, вольно, дѣтки мои!.. Старые кости!.. Осторожно! у меня деньги въ карманѣ! Слава Богу, мнѣ довѣряютъ деньги!.. Довольно, дѣтки, довольно!..

Довольно... Онъ замерзъ, — съ рукой, прижатой къ боковому карману...

Утро въ подвалѣ

Старый Менаше едва кончилъ полуночную молитву и нѣсколько псалмовъ на придачу, когда блѣдный лѣтній разсвѣтъ смотрѣлъ уже въ подвальное окошечко.

Печальными, усталыми глазами смотритъ Менаше на новорожденный день. Хрустнувъ своими худыми пальцами, онъ закрываетъ псалтырь, тушитъ маленькую керосиновую лампочку и подходитъ къ окну. Онъ глядитъ на узкую полоску неба, блѣднѣющую наверху, надъ тѣснымъ переулкомъ, и на его обрамленномъ серебристой бородой и пейсами зеленоватомъ, сморщенномъ лицѣ показывается блѣдная тѣнь печальной улыбки.

— Отдалъ, — думаетъ онъ, — свой долгъ, большое Тебѣ спасибо, Творецъ міра!

— И зачѣмъ, — вздыхаетъ онъ, — я Тебѣ нуженъ здѣсь, Творецъ міра? Тебѣ нужна еще одна молитва, еще одинъ псаломъ... а? Тебѣ мало!

Онъ отворачивается отъ окна и думаетъ, что по *его* разумѣнію было бы лучше, если бъ въ его кровати спала его внучка Ривке, а то вотъ валяется она на полу, среди хлама, которымъ торгуетъ его сынъ Хаимъ. По *его* совѣсти, совѣсти человѣческой, было бы гораздо справедливѣе, если бъ стаканъ молока, которымъ онъ живетъ чуть ли не цѣлый день, выпивала Соре, его сноха, съ утра до вечера бѣгающая по базару, не съѣдая и ложки супа за день. Янкелю, новому отпрыску семьи, это молоко тоже не повредило бы.

Правда, ему, старику, мало нужно, но вѣдь семьѣ было бы легче, если бы ему *ничего* не нужно было...

Хаимъ весь обносился... Старшая внучка, Ханэ, больная, малокровная... Врачъ говоритъ: «Дѣвичья немочь»... прописалъ желѣзныя капли, рыбій жиръ... немного вина... Копятъ для нея въ отдѣльномъ узелочкѣ, ужъ мѣсяцы копятъ — и все мало. Бѣдная Ханэ не растетъ; не растетъ и умъ ея, стоитъ на одномъ мѣстѣ... Ей уже семнадцать лѣтъ, а понимаетъ столько же, сколько двѣнадцатилѣтняя.

— Творецъ міра, зачѣмъ Ты меня взвалилъ имъ на плечи?..

Онъ прислушивается, какъ рѣзко и отрывисто дышитъ во снѣ Хаимъ. Онъ видитъ, какъ костлявая рука Соре, только что, видно, качавшей ребенка, устало свѣшивается съ кровати...

Онъ замѣчаетъ, что Янкель ворочается въ колыбели. «Скоро раскричится и разбудитъ мать!» И торопливыми, частыми шагами подбѣгаетъ онъ къ внуку и начинаетъ качать колыбельку.

— А можетъ, — думаетъ онъ, поворачиваясь къ окну, — Ты хочешь, Боже, чтобы я дождался радости отъ Янкеле, чтобы я училъ его молитвамъ, научилъ читать... а?

*

Точно румяное яблочко, цвѣтутъ щечки Янкеле во снѣ. Сладкая улыбка блуждаетъ вокругъ маленькихъ губокъ... онѣ то раскрываются, то закрываются опять. «Обжора, сосалъ бы и во снѣ!»

Тутъ старикъ замѣчаетъ, что Ривке мечется на постели.

Она лежитъ на сѣнникѣ, прикрывшись до груди грязной, усѣянной черными пятнышками простыней. Что у нея подъ головой — не видно.

Покрытое нѣжнымъ румянцемъ лицо, бѣлая, какъ алебастръ, длинная, выточенная шея кокетливо ше-

велятся на фонѣ спутанныхъ ярко-рыжихъ волосъ, покрывшихъ все изголовье и концами своими (дрожащими при каждомъ дыханіи дѣвушки) достигающихъ до полу.

— Вылитая покойница моя... — думаетъ старикъ, — горячая кровь... сны... Храни Богъ ее на долгіе годы!..

— Ривке! — подходитъ онъ къ ней и дотрагивается до ея обнаженной руки, высунувшейся изъ-подъ простыни.

— Что? А? — пугается Ривке, широко раскрывая свои большіе голубые глаза.

— Ш... ш... — успокаиваетъ онъ ее, улыбаясь, — *я* это... иди на мою постель.

— А, ты, дѣдушка? — спрашиваетъ она съ широкимъ, здоровымъ зѣвкомъ.

— *Я* ужъ спать не буду... не спится въ мои годы... я приготовлю чай... Ты вѣдь слышала вечеромъ, — они встанутъ рано; у отца есть дѣло въ городѣ, а мамѣ нужно закупить на помолвку у Пимсенгольцъ.

— *Я*, дѣдушка, приготовлю чай.

— Нѣтъ, Ривке... ты иди на мою постель... Можешь еще долго поспать... Ты сегодня, говорила мать, на фабрику не пойдешь... ты ей нужна будешь... выспись-таки...

— А-а! — еще громче зѣваетъ Ривке. Она уже все вспомнила.

Отецъ пришелъ вчера съ радостной вѣстью: Богъ послалъ ему порядочное количество старья.

Мама также принесла новость: у Пимсенгольцъ, для которыхъ она закупаетъ, будетъ, наконецъ, помолвка, хотя невѣста не совсѣмъ еще довольна: ей, таки достанется, а помолвка будетъ.

Особеннаго удовольствія эта вѣсть Ривке не обѣщаетъ: она, правда, выспится, и ходить съ матерью на базаръ, конечно, пріятнѣе, чѣмъ работать на фабрикѣ, но потомъ — таскать корзинки съ яйцами и ку-

рами и, особенно, гнаться за убѣжавшей курицей, — занятіе не изъ пріятныхъ.

Но ничего не подѣлаешь.

Она закутывается въ простыню и перепрыгиваетъ въ кровать старика.

Этотъ прыжокъ опять доставляетъ старику удовольствіе: «Вылитая старуха моя!»...

*

Пока старикъ развелъ огонь, пока онъ накололъ нѣсколько тоненькихъ лучинокъ, разложилъ ихъ подъ плитой, обсыпалъ мелкимъ каменнымъ углемъ («Дорогъ уголь», подумалъ онъ при этомъ), облилъ ихъ керосиномъ и поставилъ на камфорку старый, покрытый красноватой ржавчиной жестяной чайникъ, — Соре успѣла уже дать Янкеле грудь, выразивъ при этомъ желаніе дожить до тѣхъ поръ, когда Янкеле будетъ читать молитву надъ молокомъ...

Блѣдная Ханэ тоже проснулась и сѣла въ своей кровати.

Изъ-за спины матери она играетъ со своимъ маленькимъ братишкой «ку-ку!».

Обрамленное густыми, пепельно-сѣрыми, растрепанными волосами, ея маленькое личико, съ блѣдными щечками и мечтательными глазами, показывается то справа, то слѣва. Однако, ея движенія слишкомъ медленны, улыбка на лицѣ слишкомъ блѣдна, и взглядъ слишкомъ неподвиженъ, чтобы игра эта могла уже рано поутру оторвать «Янкеле-обжору» (такъ звали его дома) отъ груди.

Онъ сильно занятъ: онъ смотритъ на сестру, но ему некогда заняться ею.

Одну ручку онъ держитъ подъ бокомъ, на которомъ онъ лежитъ на колѣняхъ матери, другой отгибаетъ край ея открытой на груди рубахи, чтобъ не падалъ ему въ лицо, и смотритъ на свою сестру спокойно и равнодушно, — она отъ него не уйдетъ...

Хаимъ облачился уже въ талесъ и филактеріи и молится, шагая по комнатѣ.

Онъ часто останавливается, бросаетъ взглядъ на Соре, хочетъ ей что-то сказать, но тутъ же взглянетъ на старика и опять начинаетъ шагать.

Старика онъ боится.

Старикъ думаетъ, что теперь еще прежнія, добрыя времена, когда еврей могъ помолиться, какъ слѣдуетъ, слово за словомъ читать по молитвеннику... Теперь на одну пару поношенныхъ штановъ семь торговцевъ! Онъ, правда, принялъ вчера мѣры предосторожности, — условился за шесть рублей безъ пяти копеекъ, оставилъ задатка семь злотыхъ и двѣнадцать грошей... уходя далъ три копейки дворнику, чтобъ тотъ до его прихода не впустилъ во дворъ ни одного старьевщика... Однако, онъ не спокоенъ. Кто знаетъ... пока онъ достанетъ компаньона!

Онъ пьетъ уже чай, держа стаканъ на ладони и дуя на него передъ каждымъ глоткомъ, и не знаетъ еще, что предпринять.

Трудно достать компаньона!

Къ кому обратиться? къ процентщику? — онъ съ него кожу сдеретъ! Къ лавочнику? — этотъ — послѣдній грошъ у него вырветъ!..

А если ужъ удается достать компаньона, такъ вѣдь придется отдать ему половину барыша, хотя торговался онъ одинъ.

По временамъ онъ достаетъ у Соре нѣсколько злотыхъ, но сегодня — куда! еще вчера она сказала ему, что ей не хватитъ денегъ на закупки!

А, можетъ, она все-таки повѣритъ ему на одинъ день изъ узелочка Ханэ?

Онъ боится, однако, сдѣлать попытку... онъ ужъ не разъ пытался и потомъ лишь каялся.

Онъ еще разъ бросаетъ взглядъ на Соре, и ему кажется, что моментъ какъ разъ подходящій.

Она ужъ положила Янкеле обратно въ колыбельку. Стоя возлѣ него, она одѣвается и улыбается такой доброй улыбкой, что — авось выгоритъ...

— Я думалъ ночью, — дѣлаетъ онъ попытку, — покупка очень удачная. Я, слава Богу, заработаю...

— Дай Богъ, — отвѣчаетъ Соре, — пусть это будетъ на счастье Янкеле. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ родился, легче подвертывается заработокъ...

— Я думаю, — обращается къ ней Хаимъ съ заискивающей улыбкой, — что это на счастье Ханэ. Знаешь, Соре, когда я покупалъ, я такъ думалъ: изъ прибыли нужно будетъ взять хоть треть для Ханэ! И вотъ, когда я такъ думалъ, барыня стала мягкой, какъ шелкъ, и давай сбавлять съ цѣны одинъ пятачокъ за другимъ.

— Тѣмъ лучше, — улыбается ему Соре, и становится, кажется ему, моложе и свѣжѣе... «Былые годы», мелькаетъ у него въ головѣ: «что жъ, если бъ лучшія времена...» Но ему некогда думать объ этомъ...

— Итакъ, Ханэ — компаньонка!

— Прекрасно, чего жъ лучше!

— Да, — бормочетъ онъ, — если Ханэ — компаньонка... я разсчитываю-таки на ея счастье, если компаньонка...

— Ну, такъ что? — спрашиваетъ Соре, навостривъ уши и уставивъ на него глаза... «Онъ ужъ къ чему-то ведетъ... онъ ужъ хочетъ чего-то», подозрительно думаетъ она.

— Такъ что? Такъ я хочу, чтобъ она была дѣйствительной компаньонкой... чтобъ она вложила въ дѣло часть капитала.

— Что? что ты говоришь? — Соре ушамъ своимъ не вѣритъ и, не получая отвѣта, набрасывается на него:

— Разбойникъ! извергъ!.. Вотъ отецъ! вотъ мужъ! Знаетъ, что дѣвочка такъ больна... что я дала обѣтъ не спекулировать ея деньгами... Это вѣдь ея деньги!

ея кровныя деньги! Корзинку иной разъ понесетъ за мной, я иногда даю ей сколько-нибудь...

Соре успокоиться не можетъ...

Хаимъ хочетъ что-то отвѣтить, но старикъ не даетъ:

— Молчи ужъ лучше, Хаимъ, молчи, не видишь развѣ, что Сореле права?.. Иди, поищи себѣ компаньона... не обижай людей... живи самъ и дай жить другимъ.

Хаимъ молча кладетъ въ свой мѣшокъ кусокъ хлѣба съ луковицей и уходитъ изъ дому. Старикъ напутствуетъ его:

— Видалъ ты, какъ птички подбираютъ крошки на дворѣ? Крошку *покрупнѣе* берутъ вдвоемъ...

*

Въ постели старика Ривке спитъ не менѣе безпокойно, чѣмъ прежде. Въ молодой головѣ бродитъ мысль, не дающая крѣпко уснуть... Она имѣла «встрѣчу»!..

Однажды подъ вечеръ, возвращаясь съ фабрики, она столкнулась на тротуарѣ съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ. Она шла прямо, думая, что онъ уступитъ ей дорогу, но тотъ ни съ мѣста, — такъ уставился ей прямо въ лицо своими весело смѣющимися сѣрыми глазами, что она вся вспыхнула. Она посторонилась и пошла домой быстрыми шагами. Заворачивая въ боковую уличку, она противъ своей воли обернулась и увидѣла, что онъ стоитъ на томъ же мѣстѣ и смотритъ ей вслѣдъ съ тою же улыбкой, сверкая двумя рядами своихъ бѣлыхъ зубовъ.

— Я разскажу это Ханэ, — думаетъ она и, однако, она этого не сдѣлала: что пойметъ эта бѣдняжка, больная Ханэ!

Нѣсколько дней спустя она съ нимъ встрѣтилась опять. Сердце ея начало биться усиленно, ей стыдно поднять глаза, она быстро проходитъ мимо, но такъ

неловко, что чуть не поскользнулась на гладкомъ тротуарѣ.

Удаляясь, она (кажется ей) чувствуетъ, какъ его свѣтлая, веселая улыбка скользитъ по ея голой шеѣ.

Это пугаетъ ее: ей кажется, что это замѣчаютъ всѣ прохожіе, и она убѣгаетъ еще поспѣшнѣе.

Разъ онъ выросъ передъ нею, точно изъ-подъ земли.

«Ахъ!» — вскрикнула она, а онъ стоитъ и загораживаетъ ей дорогу.

— Кажется, барышня, — говоритъ онъ, — я имѣю счастье быть знакомъ съ вами.

«Барышня» сказалъ онъ ей!

Она тѣмъ не менѣе сердится и отходитъ отъ него нетерпѣливо и полуиспуганно. Однако, должна она признаться, голосъ у него очень пріятный. «Золотой голосъ», говоритъ ей сердце...

Съ тѣхъ поръ они встрѣчаются почти каждый вечеръ; она съ нимъ не говоритъ, молчитъ, но больше ужъ не убѣгаетъ отъ него...

И каждый вечеръ онъ провожаетъ ее съ фабрики домой.

Они идутъ рядомъ и молчатъ.

Часто она не въ силахъ удержаться и бросаетъ на него взглядъ сбоку...

«Усики его»...

На ея взглядъ онъ отвѣчаетъ еще болѣе свѣтлой улыбкой...

Какіе у него необыкновенные глаза... Иной разъ, кажется, изъ нихъ тянутся золотые лучи.

Между тѣмъ про все узнали на фабрикѣ: товарки подмѣтили, и пошли разговоры.

Смѣются надъ нею, пошучиваютъ на ея счетъ.

— Молодо-глупо, — говоритъ кто-то, — сегодня убѣгаетъ, завтра сама за нимъ побѣжитъ.

«Не доживете вы до этого», думаетъ Ривке.

— Она языкъ высунетъ, какъ овца за солью...

Ривке закусываетъ губы и молчитъ.

— И красавецъ же, — говорятъ, — глаза, волосы, а носъ, точно точеный. Изъ жилетнаго кармана виситъ золотая цѣпочка чуть ли не съ десятью золотыми брелоками! Ривке это льститъ.

— Можетъ, томпакъ, — сомнѣвается одна.

— Еще бы! — думаетъ Ривке.

Другія также говорятъ:

— Что ты, что ты! Сейчасъ видно, что богатыхъ родителей.

Еще больше удивляются:

— Не хочется тебѣ еще романа — успѣешь! Но будь умна, говори ласковыя слова, бери небольшіе подарки, обѣдомъ пусть угоститъ, конфектами... билеты въ театръ...

Кто-то громко смѣется:

— Конечно! Бери нахрапомъ, какъ норовистая лошадь... Но въ руки даваться — ни-ни!.. Чтобъ *имъ* пусто было!..

Раздается, наконецъ, голосъ старшей работницы съ длиннымъ костлявымъ лицомъ, острымъ подбородкомъ и косыми зеленоватыми глазами:

— Те-те-те, — говоритъ она, — подумаешь, что такая потерять можетъ! Вѣнецъ ее ждетъ! приданаго, подика, не сосчитать! Сваты пороги обиваютъ, женихи у дверей толпятся! Только держись!..

Ривке плотнѣе сжимаетъ губы, еще ниже опускаетъ пылающую голову, и двѣ горячія слезы падаютъ ей на руки, занятыя при машинѣ.

И это не даетъ ей спать.

Нѣтъ! Она ничего, ничего не возьметъ!

Билета въ театръ подавно нѣтъ!

Однажды она поздно задержалась на фабрикѣ: была спѣшная работа... Мать прибѣжала ни жива ни мертва... Когда она увидѣла свою дочь, глаза у нея начали моргать, и изъ нихъ фонтаномъ брызнули слезы. Въ корридорѣ фабричнаго зданія у лѣстницы стоялъ дѣдушка и ломалъ руки...

— Слава Богу, — бормоталъ онъ, — слава Богу. «Нѣтъ, она этого не сдѣлаетъ!..»

*

Соре тоже стала собираться въ городъ. Она ставитъ для старика стаканъ молока на столикъ, пододвигаетъ къ нему колыбельку съ Янкеле. Ей еще нужно позаботиться хоть кое о какихъ мелочахъ по хозяйству... Однако, она успѣваетъ еще пожаловаться дѣдушкѣ на плохія времена:

— Вы вѣдь слышали, тесть! Должна быть помолвка... послѣдній срокъ... телеграфируютъ, чтобы все закупили... а она, невѣста, устраиваетъ скандалы. Не хочетъ! Не хочетъ жениха изъ провинціи... у нея, говоритъ она, есть варшавянинъ, варшавскій «франтикъ»...

Ханэ, все время лежавшая съ открытыми глазами и смотрѣвшая на потолокъ, какъ оттуда одна за другой срывались мухи и разлетались во всѣ стороны, услышавъ слова матери, вдругъ садится, и ея всегда матовые глаза начинаютъ вдругъ блестѣть. Она видимо прислушивается, интересуется... Навостряетъ уши и открываетъ ротъ, точно глотая слова матери.

Мать, однако, увѣрена, что заработокъ будетъ.

«Помолвка, съ Божьей помощью, состоится. Старикъ Пимсенгольцъ еще постоитъ за себя... «Расплывшаяся Пимсенгольцъ» тоже молчать не станетъ... Ну, и коготки же у нея!»

— Прежде всего, — сказала мнѣ ихъ кухарка, — сдѣлали обыскъ, нашли письма какого-то франтика-прощалыги, и всѣ сожгли. Потомъ ужъ она получила, здорово получила! За волосы оттаскали ее!

Ханэ чувствуетъ, что глаза у нея становятся влажными, лицо краснѣетъ и искажается отъ состраданія.

Она съ плачемъ падаетъ на подушку.

Соре пугается, старикъ подбѣгаетъ къ ней.

— Что такое, Ханэ? Что съ тобой?

— Жалко, мама, жалко...

— Кого, дочь моя? Кого? — удивляется Соре, забывая обо всемъ.

— Н-н-невѣсту... она такая... добрая... сердечная... даетъ мнѣ постоянно деньги... тѣ деньги, что я тебѣ отдаю... она меня ласкаетъ... иногда цѣлуетъ... она хочетъ учить меня писать...

— Еще этого недоставало! — говоритъ Соре сердито. — Врагамъ моимъ на погибель!.. И тебѣ она хочетъ голову вскружить, чтобъ и ты не слушалась матери?..

Ханэ отвѣчаетъ съ плачемъ:

— Нѣтъ, мамочка, нѣтъ! Не бойся только! Я тебя всегда буду слушаться! Какого бы жениха ты мнѣ не дала!

Раздается вдругъ звонкій смѣхъ.

То Ривке смѣется надъ наивностью сестры.

— Злюка! — кричитъ Соре, — ребенокъ боленъ, опасно боленъ... смѣяться бы тебѣ, знаешь, какъ?..

— Не проклинай, Соре, — успокаиваетъ ее старикъ, — вѣдь и она еще ребенокъ.

Соре уходитъ раздосадованная и, оставляя комнату, кричитъ Ривке:

— Встань, франтиха! Дай Ханэ чаю, вымети комнату...

*

Старикъ Менаше выпилъ свое молоко и усѣлся у окошка.

Черезъ оконце виднѣются лишь длинныя, узкія тѣни, которыя отъ ногъ прохожихъ падаютъ на маленькія стекла...

Чѣмъ ближе къ полудню, тѣмъ быстрѣе мѣняются тѣни, и тѣмъ печальнѣе становится старикъ. Люди спѣшатъ, бѣгутъ, торгуютъ, работаютъ, онъ лишь одинъ (такъ кажется ему) ни для чего ужъ не годится.

Онъ берется за псалмы съ жаргоннымъ переводомъ. Дрожащимъ голосомъ прочитываетъ онъ стихъ по древне-еврейски, стихъ на жаргонѣ и дрожащею ногою качаетъ колыбельку Янкеле.

Ривке, полуодѣтая, сидитъ на кровати Ханэ: обѣ пьютъ чай. Рядомъ съ Ривке, пышущей здоровьемъ и жизнью, Ханэ кажется еще болѣе болѣзненной, еще болѣе блѣдной и маленькой, еще болѣе ребенкомъ.

У нихъ идетъ интимный разговоръ.

— Я не скажу, Ханэ, разскажи!

— Клянись!

— Клянусь...

— Чѣмъ?

— Чѣмъ хочешь.

Ханэ морщитъ лобъ и придумываетъ:

— Здоровьемъ Янкеле!

— Здоровьемъ Янкеле, — повторяетъ за нею Ривке.

— Въ чемъ?

— Въ томъ, что сохраню въ тайнѣ все, что ты мнѣ довѣришь...

Ханэ задумывается.

— Сиди, — говоритъ она, — я не могу... я лучше лягу и буду смотрѣть на потолокъ, а то я забываю, путаюсь... Когда я лежу и смотрю вверхъ, я все вижу передъ собой... мнѣ все представляется ясно...

— Ну, ложись, Ханэ...

— Ты также. Приложись ухомъ къ моимъ губамъ, это — страшная тайна! Я не хочу, чтобы дѣдушка слышалъ!

И Ханэ морщитъ лобъ еще сильнѣе. Она дышитъ тяжело, точно на ней лежитъ большая тяжесть. Она откидывается на подушку.

Сильно заинтересованная, Ривке ставитъ быстро стаканы на столъ и ложится возлѣ Ханэ.

Старикъ прерываетъ чтеніе псалмовъ и, обернувшись къ кровати, говоритъ:

— Не лучше ли, Ривке, прибрать?

— Сейчасъ, сейчасъ, дѣдушка, — отвѣчаетъ Ривке, — Ханэ хочетъ мнѣ кое-что разсказать.

Старикъ съ печальной улыбкой качаетъ головой и опять начинаетъ распѣвать свои псалмы съ жаргоннымъ переводомъ.

И Ханэ разсказываетъ, сморщивъ лобъ и широко раскрывъ почти неподвижные глаза, которыхъ Ривке нѣсколько пугается. Ей кажется, что Ханэ разсказываетъ не по памяти, а видитъ что-то передъ собой и говоритъ то, что видитъ. И голосъ ея такой глубокій, и дыханіе такое горячее...

*

Ханэ разсказываетъ:

«Кухарка куда-то вышла... Я осталась въ кухнѣ одна... жду мамы... она должна прійти за мною.»

— Ривке, — перебиваетъ она себя вдругъ, — когда мы ѣли пшено съ медомъ?

— Вчера, — отвѣчаетъ Ривке недовольнымъ голосомъ.

«Такъ это было-таки вчера... да, вчера... Сижу себѣ такъ и пью чай. Кухарка даетъ мнѣ всегда чай... когда ни прихожу, она мнѣ даетъ чай... А тамъ пить чай такъ пріятно... серебряной ложечкой... блеститъ... Отъ чая становится тепло во всемъ тѣлѣ... И сахаръ, слышишь ты, въ накладку.

Я хочу пить въ прикуску, остатокъ домой отнести, такъ она не даетъ, кухарка: сахаръ, говоритъ, для тебя полезенъ, — говоритъ она... и слѣдитъ, чтобы я, положила всѣ три куска!

Кухарка получаетъ тамъ цѣлый фунтъ сахару... цѣлый фунтъ въ недѣлю! Кромѣ того, она беретъ еще сама.

Мама говоритъ... она беретъ изъ серебряной сахарницы, что стоитъ въ первой комнатѣ... она стоитъ открытая... я сама видѣла! Но я брать не буду...

На сахарницѣ изображенъ олень. Сама Пимсен-

гольцъ мнѣ сказала, что это — олень... Съ такими большими, вѣтвистыми рогами... дѣйствительно, олень..

— Итакъ, ты сидишь на кухнѣ? — напоминаетъ ей Ривке.

— Да, сижу я тамъ на кровати... Ну, и кровать же у кухарки! Три большія подушки, наволочки бѣлыя, какъ снѣгъ... вязаныя кружева, а сквозь нихъ видно красное... Большія перламутровыя пуговицы, величиною съ двугривенный! Стеганое атласное одѣяло, посрединѣ большой кругъ, вродѣ колодца! Кругомъ орлы съ громадными крыльями... Поверхъ кровати еще зеленое шелковое одѣяло... Настоящая барыня эта кухарка, но добрая. Она меня приглашаетъ сидѣть на кровати, въ ногахъ... одѣяло отгибаетъ... Она меня любитъ, говоритъ она, и, знаешь, Ривке, почему?

— Почему?

— Она имѣла, — говоритъ, — такую же дѣвочку, какъ я. Ея не звали Ханэ, но моихъ лѣтъ... такъ она меня любитъ, говоритъ она... Отчего ты вздрогнула, Ривке?

— Такъ, ничего... разсказывай дальше, Ханэ...

— Сижу и пью чай... а она входитъ...

— Кто?

— Битая невѣста.

— Какъ битая?

— Ты развѣ не слышала? Вѣдь мама разсказывала. Да, да, ее бьютъ, потому что она не хочетъ того жениха...

— Ага! Ну... хорошо, она входитъ?

— Она входитъ — блѣдная... съ покраснѣвшими глазами... Слышишь, Ривке, дома она носитъ голубое шелковое платье, новенькое, съ красными крапинками... Сзади болтаются двѣ длинныя, широкія атласныя, также красныя ленты... На концахъ обшиты черной шелковой бахромой... Сережки брильянтовыя... Прическа такая великолѣпная... высоко на го-

ловѣ волосы вѣнчикомъ собраны, а посерединѣ вѣнчика голубь съ распростертыми крыльями — понимаешь? — изъ волосъ же. Сзади волосы собраны золотой пряжкой, спереди — также золотая пряжка, кажется — даже двѣ! На поясѣ опять золотая пряжка — ослѣпнуть можно! Повернется — такъ и сверкаетъ!

Ханэ замолкаетъ.

— И все?

— Подожди, — это большая тайна, Ривке! — и она добавляетъ со страхомъ, — Богъ накажетъ, если ты разскажешь.

Ривке увѣряетъ, что она ее не выдастъ.

Ханэ кладетъ свою руку подъ голову Ривке, прижимаетъ ее крѣпче къ себѣ и продолжаетъ разсказывать еще болѣе тихимъ, еще болѣе глубокимъ голосомъ:

— Она увидѣла меня и бросилась къ мнѣ съ плачемъ.

— Чего она хотѣла отъ тебя?

— Она хотѣла отъ меня услуги.

— Услуги? Отъ тебя услуги?

— Всунула мнѣ въ руку полтинникъ, тотъ полтинникъ, который я вчера отдала мамѣ — и еще кое-что...

— Что еще, Ханеле?

«Ханеле» въ устахъ Ривке вѣрный ключъ, чтобъ раскрыть сердце Ханэ.

— Письмо... И чтобъ я отдала это письмо въ строжайшей тайнѣ.

— И ты взяла?

— Подожди... Она устно заучила со мною адресъ — вѣдь я писать не умѣю — Германъ... другое имя я ужъ забыла... улицу также... но, кажется, № 40...

— Ты взяла и отдала? — спрашиваетъ Ривке со скрытымъ испугомъ.

— Не такъ скоро, — отвѣчаетъ Ханэ наивно. — Долго искать пришлось.

Но не это интересуетъ Ривке.

— Онъ — холостой? — спрашиваетъ она рѣзко.

— Откуда мнѣ знать? должно быть...

— Онъ живетъ одинъ?

— Кажется... да. Онъ самъ открылъ мнѣ. Я только нажала бѣлую пуговку — это она меня научила.

— Онъ взялъ письмо? — Взялъ. — Далъ отвѣтъ?

— Онъ не далъ отвѣта... напишетъ по почтѣ, сказалъ онъ. Но онъ такъ обрадовался письму... На радостяхъ попросилъ меня въ комнату, усадилъ на стулъ... — Зачѣмъ?

— Онъ былъ очень радъ! Онъ даже гладилъ мои волосы, — какъ мама дѣлаетъ иногда, въ субботу или праздникъ, когда у нея есть время... Потомъ онъ смѣялся и даже цѣловалъ меня... въ губы, прямо въ губы.. потомъ въ глаза... «Красивые глаза», говорилъ онъ...

Ривке лежитъ, точно окаменѣлая...

Ханэ задумывается немного, потомъ доканчиваетъ:

— Но потомъ, когда онъ хотѣлъ разстегнуть мнѣ блузку и запустить руку, я застыдилась и убѣжала... онъ забылъ запереть дверь...

— Слава Богу, слава Богу, — шепчетъ Ривке съ заглушеннымъ плачемъ.

— Что ты говоришь? Ривке... — Ничего, Ханэ.

— Скажи мнѣ только, Ривке, зачѣмъ это онъ руку хотѣлъ засунуть?..

— Молчи! — перебиваетъ ее Ривке съ испугомъ.

. . . .

Къ счастью, старикъ не слышитъ. Онъ погруженъ въ свои псалмы. Прочитываетъ стихъ и тутъ же переводитъ:

— «Нѣтъ въ устахъ ихъ истины... Сердце ихъ — пагуба; гортань ихъ — открытый гробъ», — яма, значитъ, чтобъ проглотить... и «языкомъ своимъ льстятъ»...

Ривке прислушивается съ блѣднымъ лицомъ и стиснутыми зубами...

Ханэ смотритъ на нее перепуганная...

Омраченный праздникъ

Канунъ субботы. У порога — кучка мусора, которую осталось вымести за дверь; въ мискѣ отцѣженная лапша, которую нужно еще облить ложкой бульона, чтобы не слипалась; на столѣ приготовлены водка для «кидушъ» и два бѣлыхъ хлѣба, которые покрываются шелковой салфеточкой.

Зорехъ, молодой хозяинъ дома, уже умылся. Двумя пальцами каждой руки выжимаетъ онъ воду изъ пейсовъ. Мирьямъ, молодая хозяйка, стоитъ возлѣ него и чиститъ его субботній кафтанъ.

— Ахъ, ты... неряха! — улыбаясь, говоритъ она. — Всего полтора года послѣ свадьбы, а на что кафтанъ похожъ сталъ! Смотри, на лацканѣ, — стеариновое пятно! — Она счищаетъ пятно ногтемъ, а потомъ проводитъ по этому мѣсту щеткой.

— Довольно — проситъ Зорехъ. — Вѣдь руки заболятъ. Ты совсѣмъ уже выбилась изъ силъ, брось!

— Велика важность! Пусть лучше руки поболятъ немного, чѣмъ стали бы говорить въ синагогѣ, что у тебя жена такая лѣнтяйка и неряха, что даже субботней одежды не хочетъ тебѣ вычистить.

Она замѣчаетъ еще пятнышко, снова нагибается и продолжаетъ чистку. Ея блѣдное личико покраснѣло, глаза блестятъ, и она съ трудомъ переводитъ дыханіе... Но своего она добилась: Зорехъ цѣлуетъ ее въ голову.

— Что тебѣ тамъ такъ понравилось? — Она со смѣхомъ отодвигается отъ него. — Моя повязка?

— Ты бы хоть матери постыдился, — тихо прибавляетъ она.

Повязка, которая покрываетъ ея голову, и мать, которая повернулась къ нимъ спиной, дѣлая видъ, будто ищетъ въ шкафу свою библію, — вотъ что гнететъ и давитъ ее.

До свадьбы у Мирьямъ были двѣ длинныхъ, толстыхъ косы. Всѣ дѣвушки завидовали ея бѣлокурымъ, шелковистымъ волосамъ. Когда она проходила по улицѣ, люди мысленно говорили: «Вотъ идетъ само искушеніе»... Ставъ ея женихомъ, Зорехъ, бывало, весь задрожитъ отъ радости, когда дотронется до ея волосъ. Но часто ли это ему удавалось? Помолвлены они были полгода, видѣлись всего нѣсколько разъ: одинъ разъ вечеромъ, въ праздникъ Пятидесятницы, въ Симхасъ-Тору* они тайкомъ ускользнули отъ «Гакофосъ»**, а еще разъ они встрѣтились въ Пасху, гуляя за городомъ. Тогда-то ихъ и «накрыли»! И поднялись же послѣ этого толки и пересуды! Раввинъ, призвавъ родителей, заявилъ имъ, что хотя онъ ни на секунду не сомнѣвается въ безпорочности молодыхъ людей, но все же *его* совѣтъ поскорѣй сыграть свадьбу.

Мать Мирьямъ, «длинная» Серель, даже всѣхъ перинъ и подушекъ приготовить не успѣла. Отецъ Зореха, жившій заработками отъ витья веревокъ, не собралъ еще всего приданаго... Но свадьбу сыграли. А передъ вѣнцомъ Мирьямъ остригли ея шелковистые, бѣлокурые волосы!

Мирьямъ горько плакала при этомъ.

Зорехъ въ это время сидѣлъ окруженный молодыми людьми, но онъ потомъ разсказывалъ, что почувствовалъ то мгновеніе, когда коснулись ея волосъ. Что-то точно рѣзнуло его по сердцу. За ужиномъ они оба смотрѣли такъ, будто Богъ знаетъ что потеряли.

---

* Праздникъ «Радость о Законѣ».

** Церемонія обхода амвона со свитками Завѣта.

Охъ, ужъ эта повязка!

Волосы снова отросли бы, если бы не приходилось ихъ подстригать. Зорехъ, положимъ, увѣряетъ, что есть такіе города, гдѣ еврейки носятъ парики и даже собственные волосы, но вѣдь ужъ извѣстно, что Зорехъ немного вольнодумецъ. «Если бы Богъ помогъ, и я бы выигралъ въ лоттерею», говаривалъ онъ, (разбогатѣть отъ торговли — было бы ужъ слишкомъ большое чудо), я оставилъ бы тещѣ пару тысячъ, а самъ съ Мирьямъ переѣхалъ бы жить въ большой городъ!..»

Но Мирьямъ ни о чемъ и слышать не хочетъ. Она умоляетъ Зореха не говорить объ этомъ, цѣлуетъ и обнимаетъ, лишь бы заставить его замолчать.

Во-первыхъ, на кого оставить мать? Положимъ, у нея и будутъ деньги, но если она, не дай Богъ, заболѣетъ... Человѣкъ она не молодой, некому будетъ и глотокъ воды подать. Во-вторыхъ, Мирьямъ сама боится грѣха. Правда, существуютъ такіе города, — Зорехъ знаетъ, что говоритъ. Но Богъ ихъ знаетъ, что это за города. Вѣдь были же и Содомъ и Гоморра, о которыхъ говорится въ Библіи, а тамъ такіе ли еще нравы были! Желѣзныя кровати* для иноземцевъ... сиротъ медомъ мазали... «И кто знаетъ, можетъ быть, Господь взглянетъ внизъ, посовѣтуется съ ангелами, и завтра же сотретъ съ лица земли и теперешніе Содомы и Гоморры?»

Она знаетъ, что Богъ, да будетъ благословено имя Его, терпѣливъ. Онъ навѣрное все выжидаетъ, не покаются ли люди.

— Ну такъ что же, — говоритъ Зорехъ, — значитъ, нужно окончательно отрѣшиться отъ жизни?

— Нѣтъ, Зорехъ, — отвѣчаетъ она, — но я не хочу. Если говорятъ, что нельзя, значитъ нельзя.

Еще больше ей приходится выносить отъ матери.

---

* Прокрустово ложе.

«Длинная Серель» любитъ дочь, какъ не могутъ любить и десять матерей. Дурного слова не скажетъ; но съ тѣхъ поръ, какъ ее «накрыли» за городомъ съ женихомъ, постоянно подозрѣваетъ ее въ чемъ-то — и оберегаетъ ее.

— У тебя, — говоритъ она Мирьямъ, — душа чистая, но сердце податливое, а для того, чтобы устоять противъ искусителя, нужна желѣзная воля. Человѣкъ долженъ бороться какъ левъ, потому что искуситель опаснѣе змѣи.

И она взялась поучать свою добрую, но слабую дочь, эту чистую, но неустойчивую душу, чтобы научить ее бороться съ демономъ-искусителемъ. Но послѣ каждаго такого урока Мирьямъ становится сама не своя. У нея болитъ грудь, ночью ее душатъ кошмары...

Стоитъ только Зореху закрыть за собою дверь, какъ мать уже начинаетъ читать ей нравоученія.

Сама Серель человѣкъ знающій, бѣгло читаетъ на жаргонѣ, прошла все Пятикнижіе съ разными комментаріями и еще нѣсколько подобныхъ священныхъ книгъ. Адъ она знаетъ вдоль и поперекъ, — какъ свой собственный домъ. Она знаетъ, гдѣ кипятятъ въ горячей смолѣ, гдѣ жгутъ «чернымъ огнемъ», и гдѣ черти жарятъ грѣшниковъ на вертелѣ, точно цыплятъ. Она знаетъ весь внутренній распорядокъ того свѣта: за какіе грѣхи вѣшаютъ за языкъ, — за какіе бросаютъ въ пространство между небомъ и землей, гдѣ орлы и вороны вырываютъ у нихъ куски мяса... За какіе проступки приходится бѣгать по лѣсамъ, гдѣ дикіе звѣри хватаютъ за пятки, и за какіе сдираютъ кожу и заворачиваютъ въ колючіе терніи, заставляя еще черпать воду кувшиномъ безъ дна. Одно спасеніе въ томъ, что Господь полонъ милосердія, — онъ требуетъ только покаянія... Мирель слушаетъ все это съ блѣднымъ, какъ мѣлъ, лицомъ, сильно бьющимся сердцемъ и дрожащими губами.

Она полна страха, она знаетъ, что грѣхъ всюду подстерегаетъ человѣка... Еще хуже въ тѣ, извѣстные дни, когда женщина обуреваема злыми духами, когда вокругъ нея пляшутъ исчадія ада... когда она не должна смотрѣть въ зеркало, чтобъ оно не покрылось темными пятнами! Дыханіе ея полно нечисти, одежда усѣяна дьяволами и чудовищами адскими... Какъ боялась она тогда Зореха!..

А у матери страхи начинались еще раньше, чѣмъ наступалъ этотъ періодъ. Поминутно она спрашивала: «Доченька, можетъ быть, уже?.. Можетъ, ты скрываешь, хочешь такимъ тяжкимъ грѣхомъ загубить свои молодые годы... Посмотри, можетъ быть, уже наступило... Можетъ, ты была раньше недостаточно внимательна?»

— Мамочка, — однажды спрашиваетъ Мирьямъ. — Почему Зорехъ такъ легко смотритъ на это? Онъ даже смѣется, когда я бросаю ему ключи*.

— Нехорошо это, дѣточка, большой это грѣхъ... — говоритъ мать. — Но мужчины уже по природѣ таковы. Развѣ они знаютъ? И чего мужчинѣ бояться? Прочтетъ на скорую руку главу изъ Мишны, и тотчасъ же ему вычеркиваютъ шесть страницъ грѣховъ. И когда ихъ, мужчинъ, къ отвѣту требуютъ? Разъ въ годъ, въ «страстные дни». Но бѣдная женщина, что она значитъ? Жалкое созданіе... что твоя индюшка, прости Господи! А потомъ, во время беременности, во время родовъ, — тогда вѣдь ея жизнь дѣйствительно виситъ на волоскѣ. Вотъ когда для нея наступаютъ «страстные дни». А что у насъ, бѣдныхъ, есть для спасенія души? Одно лишь Пятикнижіе. И дѣйствительно, хорошъ человѣкъ, на которомъ даже нѣтъ цицисъ. И всего-то у насъ три религіозныхъ обряда: «халэ»**, соблюденіе извѣстныхъ «очи-

* Въ упомянутые періоды женщинѣ запрещено даже передавать что-либо мужу изъ рукъ въ руки.

** Благословеніе надъ тѣстомъ.

стительныхъ періодовъ» и благословеніе надъ свѣчами. «Халэ» еще не такъ страшно, это всегда можно исполнить, «благословеніе надъ свѣчами» во время — тоже, нужно только всѣ приготовленія къ субботѣ закончить наканунѣ, въ полдень. Но «то» — развѣ можно себя уберечь? Если твой взглядъ, — говоритъ она, — упадетъ на то — мѣсто, куда упалъ его взглядъ, если его дыханіе смѣшается съ твоимъ, готово! Лилисъ* подхватываетъ этотъ взглядъ, возноситъ это дыханіе прямо къ трону Всевышняго и раздуваетъ это въ цѣлое «дѣло»... Сейчасъ же начинаютъ умирать роженицы, маленькія дѣти...

Мирьямъ сознавала, что она не разъ согрѣшила и взглядомъ и дыханіемъ... И каждый разъ, послѣ такого новаго грѣха, она не могла уснуть отъ страха, что душа ея вознесется и сама запишетъ ея новое преступленіе.

Однажды въ мѣстечкѣ состоялась временная сессія окружного суда. Все населеніе сбѣжалось, какъ на чудо. Мирьямъ тоже пошла въ судъ. Это было вскорѣ послѣ свадьбы, когда тянетъ еще ко всякимъ новинкамъ. Она увидѣла трехъ судей, прокурора, секретаря и человѣка, котораго судили... Она не понимала, о чемъ шла рѣчь, но видѣла, какъ подсудимый, когда произнесли слово «каторга», упалъ, какъ пораженный громомъ... Съ тѣхъ поръ она еще больше стала бояться небеснаго суда. Тутъ, слегка заикаясь, говорилъ прокуроръ, а тамъ выступитъ самъ сатана. Онъ будетъ изрыгать черный огонь, кипящая смола будетъ литься изъ его рта... И что за невидаль каторга! Тамъ крикнутъ: «кафъ-гакалъ»** !... Жарить велятъ, жечь!..

— Какъ будетъ тогда замирать душа! — думаетъ Мирьямъ. Ее охватываетъ дрожь, а въ груди начинаетъ колоть, какъ иглами.

* Царица злыхъ духовъ.

** Перебрасываніе грѣшника отъ конца до конца міра.

Зорехъ ничего этого и не подозрѣваетъ. При немъ мать молчитъ. При немъ Мирьямъ совсѣмъ другой человѣкъ — весела, радостна.

Но когда онъ бываетъ дома? Въ пятницу вечеромъ, въ субботу... Всю недѣлю онъ занятъ дѣломъ, — некогда дома сидѣть.

Даже ночью нѣтъ покоя. «Длинная Серель» не спитъ цѣлыми часами, возится, ходитъ по комнатѣ, вслухъ читаетъ всю «Молитву на сонъ грядущій» да еще съ «Исповѣдью». Зорехъ иногда зубами скрежещетъ, но молчитъ. Онъ разъ только сказалъ тещѣ какую-то грубость, и Мирьямъ чуть всѣ глаза не выплакала. Больше онъ не станетъ дѣлать такой глупости, зубами скрежетать онъ можетъ, но молчать будетъ.

О наставленіяхъ, читаемыхъ тещей, онъ ничего не зналъ. Онъ видитъ, что Мирьямъ становится блѣднѣе, худѣе, хватается за грудь, задыхается... И онъ весело улыбается въ ожиданіи радостнаго событія... Иногда у него мелькаетъ мысль, что нужно было бы пригласить доктора, но онъ не дѣлаетъ этого и даже заикнуться объ этомъ боится, — боится напугать Мирьямъ. Съ нѣкотораго времени она стала всего пугаться, особенно по ночамъ, — мяуканья кошки, лая собаки на улицѣ... Раздается гдѣ-нибудь стукъ въ дверь, шорохъ, она затрясется вся, вскрикнетъ — и уже лежитъ еле дыша, почти въ обморокѣ!.. Приведи онъ доктора, она, не дай Богъ, на самомъ дѣлѣ расхворается.

Часто онъ заводитъ разговоръ объ этомъ.

— Что съ тобой, Мирьямъ, что у тебя болитъ?

Она отвѣчаетъ со слабой улыбкой.

— Когда ты дома, я чувствую себя прекрасно. Лишь бы насъ злые люди не сглазили.

Она ужасно боится дурного глаза, — мало ли, чему найдется позавидовать въ ея жизни! Когда въ субботу послѣ обѣда Зорехъ уснетъ, она часто ти-

хонько подходитъ и подуетъ на него. Вѣдь лѣто, окно открыто, мало, что можетъ случиться? Можетъ кто-нибудь пройти мимо и сглазить его. Ей кажется, что всѣ должны ей завидовать, что лучше и красивѣе ея Зореха нѣтъ, хоть всю Польшу исходи, и то не найдешь.

— Что и говорить, — думаетъ она, — если бъ онъ еще соблюдалъ *то*, хоть немножно больше соблюдалъ!.. Но опять-таки, вѣдь онъ, какъ говоритъ мать, мужчина и у него цѣлыхъ 613 религіозныхъ постановленій. Такъ *это* для него неважно!..

Зорехъ утверждаетъ, что она нездорова, но она все упорно отнѣкивается... Только бы онъ сидѣлъ дома, постоянно сидѣлъ дома.

Онъ слушаетъ и улыбается. Развѣ онъ догадывается объ истинной причинѣ? А жаловаться на мать она никогда не станетъ, онъ никогда не узнаетъ, что ей приходится выстрадать, когда его нѣтъ дома.

Но теперь скоро суббота, теперь Зорехъ можетъ уйти; пусть идетъ въ синагогу. Въ субботу она не боится и въ этотъ день мать ей наставленій не читаетъ. Въ субботу наша мать — добрая мама!..

— Мирьямъ, дорогая, — говоритъ ей мать, когда Зорехъ уходитъ. — Сегодня суббота, вымойся, пріодѣнься... Когда твой мужъ послѣ молитвы войдетъ съ ангелами въ комнату, ты должна побѣжать ему навстрѣчу съ радостнымъ лицомъ, съ сіяющими глазами, съ миромъ и дружелюбіемъ и пожеланіями всего лучшаго. За это ты удостоишься...

— Крѣпкаго поцѣлуя отъ Зореха, — кончаетъ Мирьямъ со смѣхомъ.

Матери это заключеніе не особенно по душѣ, но сегодня вѣдь святая суббота, и она не произнесетъ недобраго слова. Она берется за Библію, одѣваетъ большія очки и начинаетъ читать.

Мирьямъ часто внимательно вслушивается въ чтеніе матери, — нѣкоторые разсказы ей очень нравятся. Серебрянымъ колокольчикомъ звучитъ ея смѣхъ, ког-

да она слышитъ, какъ юноша-Авраамъ разбилъ каменные идолы стараго Ѳарры, а старику объяснилъ, что это крупнѣйшій изъ его боговъ схватилъ молотъ и уничтожилъ мелкихъ; потомъ она вся дрожитъ отъ страха: не догадается ли Исаакъ, что это Яковъ, а не Исавъ подноситъ ему кушанье? Слезы выступаютъ у нея на глазахъ, когда Яковъ встрѣчается съ Рахилью у колодца; къ Лавану она питаетъ смертельную ненависть за то, что онъ обманулъ Якова... Обмани, напримѣръ, кто-нибудь Зореха... бррр!.. Она вся дрожитъ... но успокаивается, когда Яковъ получаетъ въ жены и Лію, и Рахиль: она вѣдь знаетъ, что это было *до* раби-Гершона, запретившаго многоженство.

Сегодня полагается читать главу изъ Библіи: «О приношеніяхъ». Приносились разные предметы для скиніи... Это ее мало интересуетъ. Она устала, и ее клонитъ ко сну.

Голова ея склоняется, смежаются вѣки... Она дремлетъ. На блѣдномъ лицѣ появляется добрая, милая улыбка; оно покрывается легкимъ румянцемъ... Вдругъ ее будитъ голосъ матери.

— Мирьямъ!

— Что, мамочка? Я слушаю.

— Нѣтъ, я не о томъ.

— А что?

— По моему расчету... понимаешь, дочь моя, сегодня уже...

— Еще не пора, мамочка!

— Смотри, дочка, не ошибись!

Мирьямъ снова впадаетъ въ дремоту... мать все еще продолжаетъ читать о серебряныхъ блюдахъ и серебряныхъ ложкахъ... И снова будитъ ее...

Увы! «это» уже случилось...

— Жалко, — говоритъ Серель, — испорченная суббота!.. Но, можетъ быть — еще не навѣрняка?

Она вздыхаетъ и опять углубляется въ чтеніе...

Мирель засыпаетъ, но личико уже не покрывается румянцемъ, улыбка больше не появляется на ея прелестныхъ губкахъ...

Между тѣмъ Зорехъ уже кончилъ молитву и торопится уйти изъ синагоги, чтобы никто не задержалъ его. Онъ быстро перебѣгаетъ улицу...

Дойдя до дверей, онъ останавливается и прислушивается къ тому, что дѣлается въ комнатѣ... Теща читаетъ, а Мирьямъ, должно быть, какъ всегда, увлеченная этими разсказами, слушаетъ... Ему хочется обрадовать ее своимъ внезапнымъ появленіемъ...

Онъ тихо открываетъ дверь... Теща этого не слы шитъ, Мирьямъ спитъ...

Однимъ прыжкомъ онъ возлѣ нея и цѣлуетъ ее, поздравляя съ праздникомъ...

— Грѣшникъ безбожный — вскрикиваетъ Серель...

Мирьямъ лишилась чувствъ. Съ трудомъ удалось привести ее въ себя.

Праздникъ испорченъ...

«Сумасшедшій»

Вы спрашиваете меня про Мойше Іоселесъ? Сватать его собираетесь? Прекрасно. Кого же вамъ спрашивать, если не меня? Товарищами дѣтства были, какъ же! Я и отца его, даіона*, хорошо зналъ. До конца дней своихъ былъ у насъ даіономъ. Онъ, не въ обиду ему будь сказано, былъ миснагидомъ... Но — желѣзная голова! Такому и миснагидомъ быть не грѣхъ.

Надъ каббалой онъ, правда, подшучивалъ, но я мало вѣрилъ его искренности. Онъ, старозавѣтный еврей, насъ, молодыхъ, обезкуражить хотѣлъ.

Къ ребе онъ такъ-таки не ѣздилъ. Но онъ самъ былъ ребе.

Какъ онъ, бывало, принимался за ученіе! Обернетъ, голову мокрымъ полотенцемъ (не то, говорилъ онъ, черепъ треснулъ бы у него), одну ногу подвернетъ подъ себя... а изъ-подъ длинныхъ, угрюмыхъ, злыхъ бровей прямо-таки искры сыпались...

Почетнаго ли происхожденія Мойше Іоселесъ, сомнѣваетесь вы? И какого еще почетнаго!

Все это такъ, но самъ-то онъ человѣкъ никуда не годный. Сердце у меня болитъ за него, но что правда то правда — непутевый человѣкъ, голова съ изъяномъ.

Въ дѣтствѣ и у него была желѣзная голова. Въ воскресенье зналъ наизусть весь недѣльный курсъ! Уже въ воскресенье!

* Членъ раввината.

Но — юродивый. Какія ужимки, какія выходки! И такія же длинныя брови, такіе же жгучіе глаза, какъ у отца, миръ праху его. Но отецъ былъ человѣкъ солидный, а онъ — юродивый. Пристрастился онъ одно время въ небо глядѣть. Проплыветъ, напримѣръ по небу туча, онъ въ ней видитъ то своего покойнаго дядю, то первосвященника, то козла... что только хотите, онъ видѣлъ въ очертаніи облаковъ! Если же небо чистое — это, говоритъ онъ, свѣтлая завѣса на кивотѣ.

Въ зимнюю пору онъ цѣлыми днями просиживалъ у окна и глядѣлъ на свѣже выпавшій снѣгъ. Алмазы, говорилъ онъ, свѣтятся въ снѣгу. Господи! Да и возможно-ли пересказать все? Я васъ долго задерживать не стану, дѣло вотъ въ чемъ:

Мы женились оба на одной недѣлѣ. Я былъ взятъ въ домъ моимъ тестемъ, а онъ сталъ подыскивать себѣ занятія.

У тестя, какъ водится, я совершенно забылъ про Мойше. Въ общинѣ завелись раздоры, и я весь въ нихъ втянулся...

Потомъ у меня было *свое* горе: у меня умеръ ребенокъ, съ *ней* я тоже жилъ не въ ладахъ; туда-сюда, мы съ ней развелись, и мнѣ начали предлагать партіи изъ моего родного мѣстечка.

Я оставляю дѣтей тамъ, — *она* не согласна; мы идемъ къ раввину, — онъ рѣшаетъ, чтобъ она оставила ихъ у себя до трехлѣтняго возраста. Я возвращаюсь домой. Иду въ синагогу — и встрѣчаю Мойшеле.

— Какъ поживаешь?

— Такъ себѣ... — отвѣчаетъ онъ.

— Есть у тебя дѣтвора?

— Нѣтъ, — говоритъ.

— Почему такъ?

— Развѣ я знаю?

— И что ты предпринимаешь для этого?

— Ничего.

Хорошъ отвѣтъ?!

— Ѣздишь ты куда-нибудь?*

— Мой отецъ тоже не ѣздилъ.

Слышите, — логика! Если отецъ не ѣздилъ, онъ тоже не ѣздитъ.

— Что это значитъ?

— Отецъ, — говоритъ онъ, — оставилъ мнѣ запрещеніе.

Я ушамъ своимъ не вѣрю. Когда рѣчь идетъ о дѣтяхъ, то и не-евреи къ ребе ѣдутъ. У своего ребе — дай ему Богъ здоровья, — я перевидалъ безъ преувеличенія человѣкъ двадцать съ бритыми подбородками... Одинъ выложилъ ребе 50 серебряныхъ талеровъ! Помогло ему, положимъ, столько же, сколько мертвому банки. И то сказать, помоги-ка такому, который весь погрязъ въ грѣхахъ... Однако, онъ сдѣлалъ то, что могъ. А этотъ — ничего. И подумать только, не ѣдетъ невѣжда, носильщикъ, сапожникъ, но онъ — Мойшеле? Какъ же такъ? Онъ развѣ не знаетъ, что Богъ, благословено имя Его, иной разъ нарочно караетъ, чтобъ дать ребе возможность добиться помилованія. Вѣдь иначе, что бы это за жизнь была! Все по буквѣ закона?.. Всегда въ струнку?.. Но подите, толкуйте съ нимъ.

Пока что, у меня голова кругомъ шла: предлагали мнѣ массу партій здѣсь, а случилось такъ, что я женился не на мѣстной...

Что вы думаете? Меня надули такъ, что стыдъ и позоръ признаться. Туда-сюда, я пріѣзжаю, а мой Мойшеле уже вдовецъ! И тутъ начинается настоящее безуміе: онъ и слышать не хочетъ о вторичной женитьбѣ.

По закону можно начать сватовство уже съ первой недѣли траура. Такъ онъ хочетъ быть строже са-

---

* Т. е. къ цадику.

мого закона. Потомъ онъ рѣшаетъ переждать первый мѣсяцъ; потомъ — цѣлый годъ! И послѣ всего этого, когда я уже насилу дождался конца года, онъ вдругъ заявляетъ, что ему не къ спѣху. Другой, видя, что можетъ обойтись безъ жены, женился бы, взялъ бы нѣсколько злотыхъ приданаго, уѣхалъ бы куда-нибудь и сталъ бы порушомъ*.

Нѣтъ, этого онъ не хочетъ, ему этого не надо, онъ просто «не торопится!» Онъ еще подумать долженъ.

Что же вы думаете? Онъ прожилъ такъ нѣсколько лѣтъ, какъ песъ бездомный. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, что значитъ человѣкъ безъ жены, безъ ложки супа, безъ вареной картошки? Питался одной селедкой — сидѣлъ въ своемъ хедерѣ и ѣлъ селедку. Хорошая жизнь, а?

Вотъ посмотрите на *меня*. На что я похожъ сталъ! А сколько прошло времени съ тѣхъ поръ, какъ умерла моя третья жена? Всего, можетъ быть, полгода.

И что же? Кавардакъ въ каждомъ углу! Ни чистой рубахи на субботу, ни пары цѣлыхъ штановъ, все прахомъ пошло. А онъ сидитъ себѣ въ своемъ хедерѣ и — ничего.

Понимаете, какая жизнь: съ утра луковица съ хлѣбомъ, къ обѣду кусокъ селедки, вечеромъ остатокъ отъ селедки. Моется ковшикомъ у колодца, вытирается полой и ѣстъ себѣ селедку съ хлѣбомъ. Что вы думаете? Хорошій у него былъ видъ! На покойника похожъ сталъ! Глазъ совсѣмъ не видно было! Только двѣ черныя ямы въ черепѣ. Сгорбленный въ три погибели, а платье, Господи помилуй! Шатался онъ, какъ тѣнь, какъ привидѣніе, совсѣмъ голову потерялъ. Однажды, въ субботу бѣжитъ онъ въ синагогу съ талесомъ и филактеріями подъ мышкой! Человѣкъ идетъ по улицѣ, видитъ людей въ штрайме-

* Отшельникомъ.

ляхъ*, въ атласныхъ кафтанахъ, видитъ закрытыя лавки, и ничего — бѣжитъ съ талесомъ и филактеріями!

— Мойшеле! — кричатъ ему. Онъ ничего не слышитъ. А тутъ суббота, нельзя дѣлать большихъ шаговъ! Всѣ со смѣху покатываются. Къ счастью, какой-то подмастерье бросилъ въ него камнемъ, попалъ въ плечо, и Мойшеле упалъ.

И странное дѣло: за занятіями съ дѣтьми онъ становится вполнѣ нормальнымъ человѣкомъ, прямо узнать его нельзя.

Увлекается, горячится, повторяетъ объясненія, но при всемъ томъ онъ и тогда не въ своемъ умѣ. Онъ такъ углубляется въ Тору, что даже забываетъ ударить ученика, — плетку онъ ужъ давно забросилъ куда-то. И что вы думаете, мальчикамъ рай въ хедерѣ былъ! У него бы отняли учениковъ, но онъ такой хорошій меламедъ, что дѣти успѣвали безъ одного удара, безъ одного щипка. Такая ужъ въ немъ сила! Зато, лишь только закроетъ фоліантъ, онъ переставалъ быть человѣкомъ, — ни для людей, ни для Бога, забывалъ про ѣду, про сонъ, даже про молитву.

Счастье еще, что дѣти его любили. Они готовы были за него въ огонь и воду. Обо всемъ напоминали, все подавали:

— Ребе, совершите омовеніе, — говоритъ ему ученикъ. Онъ умоется.

— Ребе, кушайте!

— Кушать, — говоритъ онъ, — нѣтъ, онъ обождетъ. Онъ не любитъ кушать одинъ.

Можетъ, вы знаете, кого онъ ждалъ?

Ждетъ, — сидитъ съ кускомъ хлѣба въ рукѣ, покачивается и смотритъ на дверь, точно Илья-пророкъ долженъ войти.

Но тутъ онъ вспоминалъ, видно, что Илья-про-

---

* У польскихъ и галицiйскихъ евреевъ шапка съ узкимъ мѣховымъ околышемъ и бархатнымъ донышкомъ.

рокъ является только къ сейдеру*. Тогда онъ начиналъ ѣсть, и плакать.

— Отчего вы плачете, ребе? — спрашивали перепуганныя дѣти.

Онъ не отвѣчалъ, отворачивался къ стѣнѣ, и дѣти слышали, что онъ рыдаетъ. Иногда онъ подходилъ къ платяному шкафу, единственное, что осталось отъ хозяйства, — открывалъ его, стоялъ и смотрѣлъ, — смотрѣлъ, точно онъ былъ великимъ богачемъ и думалъ, какой бы ему одѣть сюртукъ — атласный или шелковый. А въ шкафу, клянусь вамъ, кромѣ ея нѣсколькихъ тряпокъ, которыхъ никто даже купить не хотѣлъ, не было ничего.

Въ мѣстечкѣ, у каждаго, разумѣется, свое на умѣ, у каждаго своихъ дѣлъ достаточно. Мнѣ, правда, было жаль его, но я какъ разъ къ тому времени овдовѣлъ вторично. Я вамъ ужъ сказалъ, что при второй женитьбѣ меня надули! Здорово-таки надули. Она, не про васъ будь сказано, хворала и хворала, пока не умерла, и мнѣ приходилось опять подыскивать себѣ жену, потому что у меня тогда ужъ были, что называется, «мои, и ея, и наши» дѣти, и что можетъ мужчина подѣлать съ дѣтьми, скажите сами, что? Кормить я ихъ стану? Убаюкивать? Мыть и чесать? Мнѣ, разумѣется, не сладко было на душѣ, и я про Мойшеле опять забылъ. Но я, слава Богу, не бездаланный какой-нибудь. Я женился въ третій разъ, вотъ на той самой, которая, не про васъ, не про любого еврея будь сказано, недавно умерла. Она была бой-баба, для шинка точно создана, и бездѣтна къ тому же. Что сдѣлалъ Богъ? Простудилась она среди самаго лѣта въ миквѣ, схватила воспаленіе легкихъ, стоило уйму денегъ — и умерла!..

Итакъ, на чемъ я остановился? Да, я тогда въ третій разъ женился. Какъ только я передалъ ей

* Вечерняя пасхальная трапеза.

дѣло въ руки и увидѣлъ, что есть на кого положиться, я тотчасъ же взялся за Мойшеле.

— Ты долженъ жениться, — говорю я. — Хоть помирай, но жениться ты долженъ.

Онъ и слушать не хочетъ. «Ну», думаю я: «погоди же». Уговорился я съ родителями, чтобъ у него для виду отняли учениковъ. Разъ навсегда — меламедъ долженъ имѣть жену. Мой Мойшеле ни съ мѣста! Безъ учениковъ, такъ безъ учениковъ!

Онъ себѣ уходитъ за городъ гулять, лежитъ себѣ на берегу рѣки... Проголодается, такъ приходитъ въ городъ, перехватитъ гдѣ-нибудь кусокъ хлѣба, скушаетъ, прочитаетъ потрапезную молитву и опять уходитъ. Я ужъ думалъ, что ничего тутъ не подѣлаешь, но на третій день Мойшеле является въ бетъ-гамедрашъ. Онъ уже готовъ жениться! Вы, можетъ, думаете, онъ образумился, понялъ, что человѣкъ безъ жены ни то ни се. Упаси Богъ! По хедерѣ стосковался, дѣтей ему недостаетъ. Ну, пусть такъ, лишь бы женился. Онъ даетъ слово, что женится, поручаютъ мнѣ подыскать ему жену, и ему возвращаютъ учениковъ.

И что вы думаете? Когда я взялъ дѣло въ свои руки, оно у меня закипѣло. Нечего говорить, и перстъ Божій бытъ въ этомъ дѣлѣ. Подвернулась какъ разъ прекрасная партія. Раньше мнѣ ее предлагали, но какой-то сватъ, да изгладится память о немъ, задурилъ мнѣ голову. Представьте себѣ, женщина — кладъ: вдова, процентщица, подъ закладъ она ссужала, бой-баба, всѣ счеты вела на память и никогда не въ ущербъ себѣ. И какъ разъ за него она захотѣла выйти, такое у него счастье было! Я думалъ ужъ собрать ему на одежду, хотя бы штраймель купить... Такъ она присылаетъ сказать, что она этого не хочетъ, что она сама даетъ двадцатипятирублевку. Ну, и разодѣли же его, по-царски! Всего накупили: штраймель, башмаки, чулки, два tales-koton, брюкъ двѣ-три пары. Немедля ихъ обвѣнчали, и мой Мойшеле подъ

вѣнцомъ сіялъ, что твой вельможа. Однако, безумное лицо его не было спокойно ни минуты, точно у женщины во время родовыхъ схватокъ: губы дрожали, словно нашептывали заговоры, а глаза горѣли недобрымъ огнемъ. Сумасшедшій, да и только!

Послѣ свадьбы у него появился совсѣмъ новый пунктъ помѣшательства. Во-первыхъ, жена потребовала, чтобъ онъ бросилъ хедеръ. Она зарабатываетъ чуть ли не 10 рублей въ недѣлю, къ чему ей хедеръ? Сиди въ бетъ-гамедрашѣ за Торой и катайся, какъ сыръ въ маслѣ. Такъ онъ заупрямился: онъ долженъ быть меламедомъ, онъ привыкъ къ дѣтямъ, жить безъ нихъ не можетъ. Будутъ у тебя свои дѣти, — нѣтъ, пока онъ долженъ остаться меламедомъ! Ну, чортъ съ тобой, держись съ хедеромъ. Но тутъ онъ опять начинаетъ задумываться и совсѣмъ перестаетъ говорить. Оживляется лишь при занятіяхъ съ дѣтьми, а обыкновенно произноситъ только два слова: «Не то». Что «не то», кто «не то», — неизвѣстно.

Бѣдная женщина жизнь свою проклинала, все ему угодить старалась: къ столу подавала самое лучшее, а онъ, сумасшедшій, каждый разъ поднимаетъ на нее глаза, глядитъ, точно въ первый разъ ее видитъ, тяжело вздыхаетъ и говоритъ: «Не то! Совсѣмъ не то!»

По вечерамъ онъ, бывало, засиживается въ бетъ-гамедрашѣ. Не молится, не учитъ Торы, а такъ себѣ, сидитъ надъ пюпитромъ, или шагаетъ изъ угла въ уголъ. Послѣдній уходящій, бывало, окликаетъ его изъ жалости: «Идешь, Мойше?» Онъ не отвѣчаетъ. «Почему ты не идешь домой?» Онъ молчитъ. Его хватаютъ за плечо и встряхиваютъ. Тогда онъ вскакиваетъ, точно изъ столбняка выходитъ, и бормочетъ: «Не то... совсѣмъ не то!»

Скверно! Бѣдная женщина мнѣ жить не давала. И дѣйствительно, вѣдь это я ее подвелъ — я сватомъ былъ. У меня просто сердце надрывалось: женщина столько денегъ тратила, а пріобрѣла себѣ какое-то «совсѣмъ не то!»

Однако, чѣмъ я могу помочь? Я ей совѣтую какъ-нибудь заманить его къ ребе... Порѣшили — къ Новолѣтію (Рошъ-Гашоно), потому что тогда народу тамъ больше, со всего свѣта съѣзжаются, и я убѣжденъ, что въ Новолѣтіе сила цадика тоже больше. Но тутъ случается такая исторія. Однажды, къ вечеру, жена говоритъ ему передъ ужиномъ, чтобъ онъ вышелъ закрыть ставни, потому что она не хочетъ ѣсть съ нимъ за однимъ столомъ при открытомъ окнѣ. Она беретъ въ руки болтъ, онъ выходитъ на улицу. Вздыхая и шепча: «Не то, не то!» онъ притворяетъ ставень, она задвигаетъ болтъ, но назадъ онъ ужъ не возвратился. Онъ исчезъ!

Что вы думаете, закипѣло въ городѣ! Думали: сумасшедшій, пошелъ зимой купаться и утонулъ, или такъ себѣ ушелъ за городъ и заблудился, — сумасшедшій вѣдь. Наняли мужиковъ, искали въ рѣкѣ, въ окрестностяхъ, — ни слѣда. О бѣгствѣ и не подумали. Вѣдь дѣйствительно, случается, человѣкъ убѣжитъ отъ жены, отчего же нѣтъ, мало людей удираетъ? Но человѣкъ поужинаетъ, одѣнется, — кто же оставляетъ на столѣ миску горячихъ клецокъ и удираетъ въ старомъ, будничномъ сюртукѣ? А женщины жаль, просто сердце надрывается! Мало ей денегъ стоило! Угощенья на свадьбу, одежда, свадебные расходы... И за что? Про что? Четыре недѣли прожила съ мужемъ. И какая это была жизнь! Правда, онъ ей дурного слова не сказалъ, но не сказалъ и хорошаго, все одни только сумасшедшія слова: «Не то!» Она и такъ сохла изо дня въ день, такъ надо было ей еще стать агуной.*

Что же дѣлать! Стали писать цадикамъ. Ничего не помогаетъ. Точно въ воду канулъ. Казалось бы, конецъ. Такъ нѣтъ. Вдругъ, точно съ неба свалившись, является посланный съ разводомъ. Думаете,

---

* Покинутой женой.

можетъ быть, издалека? Нѣтъ, всего за пять верстъ отъ города, изъ Пищевки.

Ну, развѣ могло кому-нибудь прійти въ голову, что такой сумасшедшій убѣжитъ всего за пять верстъ? Никто и не догадался искать его такъ близко. Вмѣстѣ съ разводомъ онъ прислалъ ей еще росписку на 200 злотыхъ, которые она израсходовала. Онъ выплатитъ, писалъ онъ, по злотому въ недѣлю, а обезпеченіемъ будетъ служить все его имущество. Первый злотой тутъ же передалъ ей посланный.

Спустя нѣсколько недѣль онъ явился самъ и опять сталъ подыскивать себѣ учениковъ.

— Сумасшедшій, — говорю я, — зачѣмъ ты явился? Не могъ ты остаться *тамъ?*

— Я стосковался, — говоритъ онъ.

— По комъ?

— По здѣшнемъ кладбищѣ, — отвѣчаетъ онъ и говоритъ это такъ серіозно, что страшно становится слушать его. Вы слыхали, чтобъ человѣкъ тосковалъ по кладбищѣ? Да, онъ тоскуетъ, — онъ не вретъ. Послѣ вечерней молитвы онъ каждый вечеръ уходитъ за городъ и шатается вокругъ кладбища. Онъ когенъ, зайти ему нельзя, такъ онъ шатается около забора и издали смотритъ на памятники.

Что за чортъ, думаю я. Можетъ, это средство отъ бездѣтности? Не сталъ ли онъ каббалистомъ? А чего добраго, и колдуномъ?!

Что вамъ сказать, мнѣ разное на умъ приходило. Какъ знать, или онъ скрытый цадикъ, или онъ дьяволу душу продалъ... Я почемъ знаю? Въ дѣтствѣ я слыхалъ, что если сдѣлать свѣчу изъ жира младенца съ фитилемъ изъ цицесъ, можно стать невидимкой. И повѣрьте моему слову, если бы я не зналъ, что онъ когенъ, я бы подумалъ, что онъ снюхался съ шайкой воровъ и ищетъ подъ заборомъ младенца! Красть, разумѣется, Мойшеле ребъ Іоселесъ не станетъ, но до-

ставлять свѣчи, можетъ быть, и да... Мало чего человѣкъ не сдѣлаетъ ради куска хлѣба?..

Однако, это не то. Онъ уже недѣлями все ходитъ да посматриваетъ, а ни о чемъ такомъ не слыхать и не видать. Ну, вотъ, поймите его! Такъ вы уже понимаете, что называется «сумасшествіемъ»! Говорятъ «сумасшедшій», — вѣрьте!

Такъ-то, такъ-то, ребъ коревъ!* Мойшеле — мой товарищъ, я люблю его, какъ свою жизнь... но сумасшедшій онъ все-таки, бѣдняга... Женить его трудно, очень трудно. Ну, я не говорю вамъ «нѣтъ»... Вы, конечно, хотите что-нибудь заработать, такъ дѣлайте, какъ знаете.

Вотъ видите ли, если вы *для меня* имѣете партію...

---

* Родной мой, кумъ, землякъ.

Штраймель

По ремеслу я — шапочникъ, но спеціальность моя — штраймель. Главный же мой заработокъ отъ мужицкихъ сермягъ и рабочихъ полушубковъ. Иной разъ ко мнѣ заглядываетъ и Лейбъ-мельникъ со своей енотовой шубой.

Правда, шить штраймель случается рѣдко, очень рѣдко. Ибо кто носитъ теперь штраймель? Раввинъ развѣ. И штраймель всегда переживаетъ раввина...

Правда и то, что если и случается шить штраймель, то или совсѣмъ даромъ, или за полцѣны. Въ лучшемъ случаѣ, трудъ мой не оплачивается. Все это вѣрно, и тѣмъ не менѣе спеціальность моя — штраймель, ибо шить штраймель я *люблю*.

Только когда она попадаетъ мнѣ въ руки, я молодѣю — я чувствую, кто я такой, на что я способенъ!

И то сказать, какія еще у меня радости въ жизни?

Когда-то мнѣ доставляла удовольствіе мужицкая сермяга...

Во-первыхъ, почему бы и нѣтъ?

Во-вторыхъ, я такъ думалъ: «Мужичокъ даетъ намъ хлѣбъ, работаетъ лѣтомъ до изнуренія, — и я не могу защитить его отъ зноя. Буду же я во время зимняго его отдыха защищать его отъ холода».

А въ-третьихъ, у меня была на этотъ случай прелестная пѣсенка.

Я былъ молодъ, голосъ у меня былъ, что звонъ колокольный, и я, бывало, шью и пою:

«Ты строчи, строчи, игла,
Кожу твердую, какъ жесть,
Мѣхъ колючій, какъ щетина!
Славно будетъ мужичка
Грѣть тулупчикъ!.. Эхъ, жена,
Выпить бы на радостяхъ!..»

И въ томъ же родѣ еще нѣсколько куплетовъ. И вся эта пѣсня, была, разумѣется, сочинена мной ради заключительныхъ словъ: «Выпить бы!..»

Ибо, надо вамъ знать, нынѣшняя смиренномудрая раба Божія Мирьямъ-Двоше тогда еще не была богомольной святошей. Она не звала меня, какъ теперь, «Берель-Колбаса», а «Береле», и я звалъ ее «Миреле». И любились мы, грѣшнымъ дѣломъ, горячо: чуть, бывало, она услышитъ заключительный куплетъ моей пѣсенки, тотчасъ же подавала мнѣ вишневки. Вишневка сильно дѣйствуетъ на кровь, и я, бывало, тутъ же хватаю ее за платье, горячо цѣлую въ алыя, какъ черешни, губки и, вдвойнѣ освѣженный, принимаюсь опять за сермягу...

Теперь — прощай, черешенки!..

Я — «Берель-Колбаса», а она — Мирьямъ-Двоше...

Узналъ я также, что земли мало, а мужиковъ много, — говорятъ даже, слишкомъ много; что «лишніе» мужики терпятъ голодъ, что съ шести морговъ земли и то жить невозможно; что поэтому и зимою мужику не до отдыха. Тогда начинается извозъ, и хорошъ у него отдыхъ зимою! По цѣлымъ днямъ и ночамъ онъ возитъ пшеницу къ Лейбу на мельницу. Какъ же вы думаете? Могу я радоваться, когда сермяга моя, плодъ моей работы, мокнетъ всю зиму, тащась за парой дохлыхъ клячъ, которыя возятъ хлѣбъ Лейба-мельника за тринадцать грошей съ мѣшка на разстояніи пяти миль!

А велика ли, подумаешь, радость отъ рабочаго полушубка?

Всю зиму тащитъ онъ муку на мельницы Лейба-мельника, а все лѣто онъ заложенъ въ шинкѣ за



гроши. Осенью, когда онъ попадаетъ ко мнѣ въ починку, я хмѣлѣю отъ сивушнаго запаха.

А когда ко мнѣ попадаетъ даже сама, во всемъ великолѣпіи своемъ, енотовая шуба Лейба-мельника, какъ вы думаете, много радостей доставляетъ она мнѣ?

Она-таки енотовая шуба вещь важная, и въ мѣстечкѣ ей большой почетъ, но мнѣ-то отъ этого пользы мало.

Скверную привычку пріобрѣлъ я: что бы я ни увидѣлъ, надъ всѣмъ я задумываюсь: отчего? и почему? и не можетъ ли быть *иначе?* И потому, какъ только въ мои руки попадаетъ шуба Лейба-мельника, я начинаю думать:

— Владыко міра! Зачѣмъ ты создалъ столько родовъ шубъ? Почему у одного енотовая шуба, у другого — полушубокъ, у третьяго — сермяга, а у четвертаго и совсѣмъ нѣтъ ничего?

И лишь только начинаю думать, я весь ухожу въ свои мысли, и игла падаетъ изъ рукъ. А смиренномудрая Мирьямъ-Двоше швыряетъ мнѣ въ голову, что подъ руку попадется... Она желаетъ, чтобы «Берель-Колбаса» меньше думалъ и больше работалъ.

Но что мнѣ дѣлать, когда я *долженъ* думать? Когда я все-таки знаю, что Лейбель-мельникъ лишь тогда даетъ дѣлать новый верхъ для своей енотовой шубы, когда ему удается сорвать по грошу съ мѣшка у сермяги и по грошу съ пуда у каждаго полушубка?

Ну, этому ли мнѣ радоваться?

*

Ахъ, чуть было не забылъ:

Осенью мнѣ подвернулся какъ-то совсѣмъ особенный заказецъ. Чего только не придумаютъ женщины! Входитъ Фрейдель, сборщица для бѣдныхъ, въ какихъ-то чудовищно громадныхъ рукавицахъ на рукахъ. Смотрю — пара мужицкихъ сапогъ, — я думалъ, что лопну отъ смѣха.

— Добраго утра! — говоритъ она своимъ сладенькимъ голоскомъ, — добраго утра, Береле!

Она — подруга моей жены и, подобно всѣмъ, называетъ меня обыкновенно: «Берель-Колбаса!» И вдругъ: «Береле!» И такъ это, знаете, сладко, хоть варенье вари. Догадываюсь, что у нея есть какая-нибудь просьба ко мнѣ...

Я думалъ, что она стащила эти сапоги съ крестьянской телѣги (вѣдь это не хуже, чѣмъ мелочь изъ кружки) и хочетъ спрятать ихъ у меня, и потому спрашиваю ее строгимъ тономъ:

— Чего вамъ?

— Сейчасъ же серчать! — отвѣчаетъ она еще слаще (просто медъ изо рта у старухи течетъ), — сейчасъ же: «Чего вамъ!» А гдѣ твое «здравствуйте?»

— Пусть будетъ «здравствуйте»! Пожалуйста, покороче!

— Чего ты торопишься, Береле? — улыбается она еще умильнѣе. — Я пришла спросить, нѣтъ ли у тебя нѣсколькихъ кусковъ мѣха...

— Ну, а если есть?

— Я бы предложила тебѣ кое-что.

— Ну? Что тамъ? Говорите!

— Если бъ ты былъ добрымъ, Береле, ты бы мнѣ подшилъ вотъ эти сапоги кусками мѣха. У меня и было бы въ чемъ пойти къ «Слихосъ»*, а ты безъ большого труда сдѣлалъ бы богоугодное дѣло.

Вы понимаете — гешефтъ! «Почти задаромъ богоугодное дѣло!»

— Вы знаете вѣдь, — говорю я ей, — что Берель-Колбаса не занимается богоугодными дѣлами...

— А что? У бѣдной еврейки ты возьмешь деньги?...

— Нѣтъ, не деньги! Я вамъ сдѣлаю это совсѣмъ за пустякъ: *я* вамъ подошью сапоги, а *вы* мнѣ разскажете грѣхи своей молодости...

* Утреннія чтенія въ синагогѣ въ недѣлю передъ праздникомъ «Новолѣтія».

Не согласна, — такъ я отослалъ ее къ переплетчику.

Сапоги подшивать! Мнѣ ужъ и такъ жизнь опротивѣла. Вамъ смѣшно? Право же, когда у меня нѣтъ заказа на штраймель, мнѣ все противно. И то сказать, зачѣмъ я работаю? Чтобы только набить свою грѣшную утробу? И чѣмъ? Хлѣбомъ съ картошкой, хлѣбомъ безъ картошки, а часто и картошкой безъ хлѣба. Стоитъ!

Вѣрьте мнѣ, когда человѣкъ работаетъ 50 лѣтъ изо-дня въ день ѣстъ картошку, — жизнь *должна* ему опротивѣть. Ему *должна* прійти мысль: или себѣ конецъ, или Лейбу-мельнику! И если я продолжаю спокойно ѣсть свою картошку и работать, то этимъ я обязанъ опять-таки штраймель!

Попадаетъ мнѣ штраймель въ руки, кровь со свѣжей силой начинаетъ течь въ моихъ жилахъ. Я знаю тогда, для чего я живу!

. . . .

Сидя надъ штраймель, я какъ бы чувствую, что держу въ рукахъ своихъ птицу, и вотъ раскрою руку — и птица взлетитъ высоко-высоко, чуть глазъ видитъ!

А я буду стоять и наслаждаться: «Это *моя* птица! *Я* ее создалъ, я ее пустилъ въ высь!»

Въ городѣ я, милостью Божіей, никакимъ вліяніемъ не пользуюсь; на засѣданія меня не приглашаютъ, а самому лѣзть — такъ я вѣдь не портняжка какой-нибудь! И я почти на улицу не показываюсь. У меня нѣтъ опредѣленнаго мѣста ни въ синагогѣ, ни въ бетъ-гамедрашѣ, ни даже въ частной молельнѣ. Словомъ, круглое ничтожество...

Дома — царство моей благовѣрной. Не успѣваю ротъ открыть, какъ она уже осыпаетъ меня проклятіями. Она, видите ли, заранѣе знаетъ все, что «Берель-Колбаса» намѣревается сказать, что онъ думаетъ, — и пойдетъ, и пойдетъ, словно въ котлѣ кипитъ!

Ну, что я? Ничто! А вотъ выйдетъ изъ рукъ моихъ новая штраймель — и вся община предо мною преклоняется! Я сижу дома и молчу, а моя штраймель раскачивается на почетномъ мѣстѣ, гдѣ-нибудь на свадьбѣ, при обрядѣ обрѣзанія, на какомъ-нибудь другомъ благочестивомъ празднествѣ. Она возвышается надъ всей толпой на общественныхъ выборахъ, на судебномъ засѣданіи раввината.

И когда я вспоминаю о всемъ этомъ почетѣ, сердце мое преисполняется радостью!

*

Насупротивъ меня живетъ позументщикъ. Я, право, не завидую ему!..

Пусть его эполета или погонъ осмѣлится заявить: «*Этотъ* быкъ — трефъ, а *тотъ* — кошеръ!» Хотѣлъ бы я посмотрѣть! А захочетъ моя штраймель, такъ и цѣлыхъ четыре быка подрядъ — трефъ: мяснику тогда крышка, его служащіе хоть съ голоду пропадай, у евреевъ въ городишкѣ «девять дней*», цѣлая сотня казаковъ получаетъ мясо по шести грошей за фунтъ, — и пропало! Никто ни слова не скажетъ.

Вотъ это — сила!

Не помню я развѣ? Въ прошломъ году былъ падежъ овецъ. Разсказывали, будто начнетъ овца странно такъ кружиться, кружиться, затѣмъ голову закинетъ и падаетъ замертво. Самъ я этого не видалъ. Кружились ли тамъ овцы, нѣтъ ли, но Янкелю-мяснику навѣрно ужъ досталась дешевая баранина.

Ветеринарный врачъ пріѣхалъ и заявилъ: «Трефъ!» Никто не слушается. Привелъ онъ съ собой четыре рода эполетъ, два рода погоновъ, такъ у нихъ изъ-подъ носу стащили мясо, и еще на третій день все мѣстечко имѣло къ ужину дешевую баранину.

---

* Девять дней передъ 9-мъ Аба, днемъ разрушенія Іерусалимскаго храма, воспрещено ѣсть мясное.

У моей штраймель не крадутъ. Не нужно эполетъ, погоновъ, она сама даже съ мѣста не двигается, но пока она не скажетъ: «Ѣшь!» — ни одинъ ротъ не откроется во всемъ мѣстечкѣ.

*

Вы, можетъ, думаете, что вся сила въ томъ, что *подъ* штраймель находится? Никоимъ образомъ..

Вы, пожалуй, не знаете, что подъ нею, — я-то, слава Богу, знаю.

Особа эта была, благодареніе Господу, въ еще меньшемъ мѣстечкѣ, чѣмъ наше, меламедомъ, и мой отецъ, миръ праху его, прежде чѣмъ убѣдиться, что изъ меня никакого толку не выйдетъ, посылалъ меня учиться къ этому меламеду. Подобной бездарности еще свѣтъ не видалъ. Настоящій меламедъ!

Обыватели, замѣтивъ, что въ денежныхъ дѣлахъ онъ ничего не смыслитъ, тотчасъ же сократили ему плату на половину, а остальную часть выплачивали стертыми двухкопеечными монетами вмѣсто трехкопеечныхъ, или фальшивыми двугривенными. Благовѣрная его, видя, что добромъ она ничего съ нимъ не подѣлаетъ, принялась выщипывать ему бородку!

И винить ее нельзя. Во-первыхъ, хлѣба не доставало, во-вторыхъ, женщина любитъ пощипывать, въ третьихъ, и бороденка ужъ у него была такая, такъ и просилась, чтобъ ее пощипывали, до того просилась, что мы, ученики его, едва удерживались, чтобы не пощипать ея; а иной разъ не утерпишь, спустишься подъ столъ и вырвешь волосъ изъ этой бороденки.

Можетъ этакое созданье имѣть какое-нибудь значеніе? Можетъ, вы думаете, онъ со временемъ измѣнился къ лучшему?

Куда тамъ! Въ немъ не произошло ни малѣйшей перемѣны. Тѣ же маленькіе, потухшіе, гноящіеся глазки, вѣчно блуждающіе, испуганные.

Правда, нужда свела въ могилу его первую жену,

ну такъ что же? Какая разница? Деретъ его за бородку *другая,* разъ бородка сама просится, умоляетъ, чтобъ ее пощипывали. И, право, удержаться трудно!

Даже мнѣ, чуть увижу ее, стоитъ большого труда не ущипнуть.

Но что же произошло? Всего только то, что я сшилъ ему штраймель!

Долженъ сдѣлать чистосердечное признаніе, что починъ тутъ былъ не мой. Мнѣ это и въ голову не пришло бы. Община заказала, я и сшилъ. Но чуть община узнала, что штраймель, которую мнѣ заказали, которую я, «Берель Колбаса», сшилъ, пріѣзжаетъ, — вся она поспѣшила за городъ за цѣлую версту съ великой радостью, съ парадомъ. Бѣжалъ старъ и младъ, больные повыскочили изъ кроватей. Выпрягли лошадей и всѣ разомъ захотѣли запречься и повезти мою штраймель. Богъ знаетъ, какія стычки вышли бы изъ этого, какія оплеухи, какіе доносы! Но нашлась умная голова, которая посовѣтовала устроить аукціонъ. И Лейбель-мельникъ далъ 18 разъ по 18 злотыхъ, за что получилъ почетное право впречься *первой* лошадью!

Ну, какова сила моей штраймель?

*

Моя смиренномудрая, кромѣ «Берель-Колбаса», честитъ меня еще и сластолюбцемъ, и наглецомъ, и похабникомъ и всѣмъ, что только на языкъ ей попадаетъ.

Конечно, такова уже человѣческая натура, — люблю красное словцо, люблю подпустить шпильку Лейбу-мельнику въ глаза и за глаза... Люблю также, нечего грѣха таить, поглядѣть и на служаночекъ, что берутъ воду изъ колодца насупротивъ — онѣ вѣдь не когены передъ кивотомъ*.

Но, вѣрьте мнѣ, не *это* поддерживаетъ во мнѣ

* На когеновъ, потомковъ Аарона, запрещено смотрѣть во время совершенія ими въ праздничные дни обряда «благословенія».



желаніе жить. Меня только одно утѣшаетъ — выйдетъ иногда изъ рукъ моихъ новый идолъ на свѣтъ Божій — и всѣ передъ нимъ, предъ «дѣломъ рукъ моихъ», преклоняются!..

Я знаю, что когда моя смиренномудрая бросаетъ мнѣ ключи черезъ столъ, то она это дѣлаетъ по приказанію моей штраймель*. Меня она и слышать не хочетъ, но штраймель моей она *должна* слушаться!

Возвращается она изъ мясныхъ рядовъ наканунѣ праздника или субботы безъ мяса и проклинаетъ мясника — я знаю, что мясникъ ничуть не виноватъ: то штраймель моя не даетъ ей сегодня дѣлать кугель.

Беретъ она совсѣмъ еще хорошій горшокъ и выбрасываетъ его на улицу, я знаю, что это штраймель моя вышвырнула горшокъ. Беретъ она кусокъ тѣста, бросаетъ его въ печь, поднимаетъ руки и закатываетъ глаза къ потолку, — я прекрасно знаю, что потолокъ ровно ничего изъ всего этого не понимаетъ, и этотъ кусокъ тѣста сожгла моя штраймель!

И я при этомъ знаю, что моя смиренномудрая супруга не единственная въ общинѣ, а община — не единственная у Бога; въ общинѣ много такихъ правовѣрныхъ женъ, а у Бога много, очень много такихъ общинъ. И моя штраймель повелѣваетъ всѣми милліонами милліоновъ праворѣрныхъ женъ!

Милліоны ключей бросаются, милліоны женщинъ не дѣлаютъ кугелей, милліоны горшковъ разбиваются вдребезги на мостовыхъ, а сжигаемыми кусками тѣста я бы взялся прокормить полки, легіоны нищихъ!

И кто все это дѣлаетъ? Все моя штраймель, — дѣло рукъ моихъ!

*

Перейдемъ опять къ позументщику. Вотъ онъ сидитъ насупротивъ моего окна. Лицо его лоснится, точно его саломъ вымазали.

---

* См. примѣчаніе на страницѣ 111-ой.

Чего онъ сіяетъ? Чего такъ искрятся его бѣгающіе глазки? — Онъ скрутилъ пару золотыхъ погоновъ.

Во-первыхъ, мы прекрасно знаемъ, что такое золото и что мишура. Во-вторыхъ, мнѣ извѣстно, что пара погоновъ имѣетъ подъ своимъ началомъ въ десять разъ больше солдатъ, чѣмъ енотовая шуба Лейбеля — сермягъ и полушубковъ. А все-таки пусть самый крупный золотой погонъ издаетъ приказъ: «Десять быковъ зарѣжь, и только полбыка вари!» «Помирай съ голоду, имѣй посуду четырехъ родовъ, а вымя ѣшь на опрокинутой тарелкѣ!» «Отъ каждаго куска брось часть въ огонь и въ воду!» Или: «Каждый женихъ обязанъ предварительно показать мнѣ свою невѣсту, а каждая невѣста — своего жениха!» «Хочешь ли, не хочешь, со мною — все, безъ меня — ничего!»

Крупнѣйшая генеральская эполета не отважилась бы и мечтать о чемъ-нибудь подобномъ. А если бы и рѣшилась на это, то всю страну пришлось бы наводнить солдатами: у каждой кровати — хотя по парѣ казаковъ, чтобы караулили другъ друга, а оба вмѣстѣ — кровать. И сколько при этомъ было бы обмановъ, кражъ, контрабанды! Господи, если бы мнѣ столько добра имѣть!.. А моя штраймель дѣлаетъ все это тихо и благопристойно, безъ нагаекъ, безъ казаковъ.

Я себѣ спокойно сижу дома и знаю, что безъ разрѣшенія моей штраймель, ни одинъ Мойшеле не дотронется ни до какой Ханеле, даже взглянуть не посмѣетъ — Боже упаси!

И, наоборотъ, пусть моя штраймель навяжетъ Мойшеле или Ханеле Богъ вѣсть, какую несуразность, — то хоть ложись и помирай! Не отдѣлаться имъ другъ отъ друга, развѣ вмѣстѣ съ жизнью. А если не хочешь такъ долго ждать, ты долженъ ходить, просить, кланяться той же самой штраймель: «Штраймеле, спаси! Штраймеле, разбей мои оковы, выпусти меня изъ темницы!»

*

Въ концѣ улицы находится шинокъ.

Съ тѣхъ поръ какъ моя благовѣрная, занявшись «сборомъ для бѣдныхъ», перестала приготовлять для меня вишневку, я время отъ времени заглядываю туда, чтобы подкрѣпиться, особенно въ посты... Не обязанъ же я, по крайней мѣрѣ, поститься: вѣдь штраймель все-таки *моей* работы!..

Шинкаря я давно уже знаю. И онъ однѣми заповѣдями Божьими да добрыми дѣлами не живетъ... Но не въ этомъ дѣло.

Были у шинкаря двѣ дочери — двѣ сестры отъ одного отца и матери. Что я говорю — близнецы даже, ей-Богу! И отличить одну отъ другой нельзя было. А парочка была милая — хоть молись на нихъ!

Личики, что яблочки на дѣтскихъ флагахъ въ Симхасъ-тору; благоуханны, что сосуды съ ароматами, стройны, что пальма, а глаза — спаси меня Богъ и помилуй! Взглянутъ, точно алмазъ сверкнетъ! И благонравныя. Въ шинкѣ, кажется, и все жъ далеко отъ шинка. Въ ковчегѣ Завѣта ихъ не воспитали бы лучше.

Въ шинкѣ родились, а настоящія королевы. Ни одинъ пьяница не осмѣливался произнести при нихъ непристойное слово, — ни одинъ стражникъ, ни одинъ акцизный. Попади въ шинокъ даже самая важная персона, и то бы, кажется, не осмѣлилась ущипнуть которую-нибудь изъ нихъ въ щечку, не дерзнулъ бы дать волю не только рукамъ, но и глазамъ, даже помысламъ своимъ. Я готовъ былъ сказать, въ *нихъ* таилось больше силы, чѣмъ въ моей штраймель. Но это было бы грубой ошибкой. Моя штраймель оказалась сильнѣе ихъ, въ тысячу разъ сильнѣе!

*

Близнецы — онѣ не показывались одна безъ другой. Если у одной что-нибудь болѣло, то и другая страдала вмѣстѣ съ ней. И все же какъ быстро разошлись ихъ дороги...

Совершили онѣ одно и то же, чуть-чуть различно, а вотъ, подите же...

Обѣ онѣ перемѣнились какъ-то сразу: и веселыя настроенія, и печальныя, — все не по прежнему. Я не могу вамъ объяснить, что съ ними стало. Подходящія слова на самомъ кончикѣ языка, а не могу ихъ выговорить... Куда мнѣ, неучу... Онѣ стали какъ-то болѣе сосредоточены, ушли въ себя, и въ то же время — и печальнѣй, и обаятельнѣй прежняго...

И извѣстно было, кто былъ причиной тому: указывали пальцами на двухъ Мойшеле, благодаря которымъ обѣ Ханеле стали еще милѣе, добрѣе, обаятельнѣй и... выросли какъ-то...

Э, да я что-то другимъ языкомъ заговорилъ, совсѣмъ не подобающимъ шапочнику! Слеза даже выступила... совсѣмъ это мнѣ не по лѣтамъ. Смиренномудрая моя опять скажетъ: «Сластолюбецъ!»

Но я не долго буду распространяться.

Обѣ сестры совершили одно и то же, точь въ точь: недаромъ же были онѣ близнецами.

У каждой завелось по Мойшеле. И обѣ черезъ короткое время должны были клинья въ юбочки свои вставить...

Стыдиться нечего, дѣло обычное. На то воля Божья, — какой же тутъ стыдъ?

И все-таки, различно кончилось это у каждой изъ нихъ!

Одна сестра не скрывала своей беременности ни передъ кѣмъ: ни въ храмѣ Божьемъ, ни на улицѣ передъ людьми, ни передъ стражникомъ, ни передъ акцизнымъ, ни передъ всѣми посѣтителями шинка. А потомъ она же, вдали отъ пьяницъ, въ тихой, теплой комнатѣ, легла въ чистую постель. Окна завѣсили, мостовую покрыли соломой, бабка пришла, доктора пригласили... А потомъ торжество было — сталъ расти новый маленькій Мойшеле. . . . .
. . . .

Это ей понравилось, и она стала сыпать маленькими Мойшеле изъ года въ годъ. И она пользуется общимъ уваженіемъ по сей день.

Другая же свою беременность скрывала, родила въ какомъ-то погребѣ... Черная кошка повитухой была...

Ея маленькій Мойшеле давно уже покоится гдѣ-то подъ заборомъ, а другихъ Мойшеле у нея ужъ не будетъ! И одинъ Богъ знаетъ, куда она сама дѣлась... Исчезла.

Говорятъ, она гдѣ-то живетъ прислугой въ далекихъ краяхъ, питается чужими объѣдками... Другіе говорятъ, что ея уже и въ живыхъ нѣтъ...

Плохо кончила она.

И вся разница въ томъ, что съ первой совершилось это на синагогальномъ дворѣ, на старой кучѣ мусора, подъ вышитымъ серебряными буквами грязнымъ кускомъ сукна и *рядомъ* со... штраймель. А съ другой это случилось гдѣ-то въ пѣвучемъ лѣсу, на свѣжей травѣ, среди сочныхъ цвѣтовъ, подъ голубымъ *Божьимъ* небомъ, усѣяннымъ Божьими звѣздочками, но — *безъ* штраймель.

Не помогаютъ ни пѣвучій лѣсъ, ни душистые цвѣты, ни Божье небо, ни Божьи звѣзды, ни Богъ самъ.

Сила не въ нихъ, а въ штраймель! Не въ погонахъ, не въ эполетахъ, не въ прелестнѣйшихъ на свѣтѣ Ханеле, а въ однѣхъ только штраймель — штраймель, которыя шью я, «Берель Колбаса»!

Вотъ что заставляетъ меня цѣпляться еще за эту глупую картофельную жизнь!

Четыре поколѣнія — четыре завѣщанія

I

Когда ребъ Эліэзеръ, сынъ Хайкеля, отошелъ въ вѣчность, у него подъ подушкой нашли записку слѣдующаго содержанія:

«Моя воля, чтобы дѣти продолжали сообща владѣть лѣсомъ.

Послѣ моей кончины пусть построятъ они ограду вокругъ кладбища и исправятъ крышу синагоги.

Священныя книги переходятъ къ сыну Беньямину, жениху, дай Богъ ему долголѣтія, остальные сыновья и зятья получили священныя книги къ свадьбѣ.

Жена моя, да продлитъ Господь дни ея, пусть по прежнему живетъ въ домѣ отдѣльно отъ дѣтей и возьметъ къ себѣ бѣдную сироту, дабы не жить ей въ одиночествѣ. По праздникамъ да произноситъ она сама благословеніе надъ хлѣбомъ и виномъ.

Да получитъ она такую же долю, какъ остальные наслѣдники.

Независимо отъ этого»...

Больше нельзя было разобрать.

Записка, повидимому, была сунута подъ подушку раньше, чѣмъ чернила успѣли просохнуть, и буквы стерлись.

II

Ребъ Беньоменъ, сынъ Эліэзера, написалъ больше:

«Пробилъ мой часъ, и я вскорѣ сподоблюсь возвратить душу, данную мнѣ на сохраненіе Тому, Кто владыка надъ всѣми душами». «Человѣкъ трепещетъ передъ святымъ именемъ Его и Его судомъ, я же покидаю этотъ міръ безъ страха, Боже упаси, но съ

великой вѣрой въ милосердіе Его, и вѣрую, что поступитъ Онъ со мной не по всей строгости закона, а такъ, какъ велитъ Ему Его великое милосердіе.

Ибо я знаю, что не оправдалъ довѣрія Господа, и душа моя за время пребыванія у меня запятналась и испортилась».

Мы опускаемъ исповѣдь и наставленія дѣтямъ и читаемъ дальше:

«Ноги мои коченѣютъ, сознаніе мое помрачается все болѣе, и вчера со мной случилось нѣчто необычайное: углубившись въ чтеніе священной книги, я задремалъ, и приснилось мнѣ что-то смутное, и выпала священная книга изъ руки моей. Я проснулся и тутъ же понялъ, что это не спроста, что меня зовутъ...

О дѣйствительныхъ моихъ заслугахъ на этомъ свѣтѣ я пока молчу. За это Господь воздастъ мнѣ черезъ сто двадцать лѣтъ. Плоды этихъ дѣяній я сподоблюсь увидѣть передъ лицомъ Всевышняго. Да будетъ воля его! Аминь!..

Никогда не было моимъ то, чего я нынѣ не беру съ собой, и, видитъ Богъ, я оставляю все это безъ всякаго сожалѣнія.

Я не оставляю никакихъ указаній, какъ дѣлить наслѣдство, ибо увѣренъ, что семья моя, да продлитъ Господь дни ея, будетъ жить вмѣстѣ въ мирѣ и согласіи, или же раздѣлитъ между собою имущество согласно закону и справедливости, и одинъ отъ другого, Боже упаси, не станетъ утаивать чего-либо.

Я требую, чтобы семья моя, — жена, сыновья и зятья, да продлитъ Господь дни ихъ, отдѣлили двѣ десятины отъ имущества. Сейчасъ же послѣ моей смерти пусть сдѣлаютъ точный подсчетъ, какъ движимаго, такъ и недвижимаго имущества, домашней утвари и другихъ вещей, векселей и долговъ «на-слово»; первую десятину пусть раздадутъ бѣднымъ отъ моего имени для спасенія моей души.

Изъ остатка, т. е. уже изъ своего наслѣдства,

пусть отдѣлятъ вторую десятину за себя, также въ пользу бѣдныхъ, согласно моему обычаю отдавать неимущимъ десятую часть прибыли.

И сверхъ каждой десятины пусть пожертвуютъ еще три процента, ибо можетъ статься, что они ошиблись въ счетѣ.

Обѣ десятины должны быть розданы чужимъ бѣднымъ — отнюдь не родственникамъ.

Сколько отдать бѣднымъ родственникамъ, пусть рѣшатъ сами, но только имъ нужно давать не изъ этихъ денегъ, ибо жертвовать надо не ради своего удовольствія; давать же близкимъ родственникамъ все равно, что давать самому.

На моемъ памятникѣ пусть вырѣжутъ только мое имя и имя блаженной памяти отца моего, не больше.

И прошу я сыновей моихъ и зятей, чтобы не слишкомъ предавались они суетѣ мірской и не желали бы во что бы то ни стало сдѣлаться крупными купцами, ибо чѣмъ крупнѣе купецъ, тѣмъ скорѣе онъ перестаетъ быть евреемъ. Пусть не ищутъ они дѣлъ въ далекихъ странахъ и не разсѣиваютъ своего капитала на всѣ четыре стороны, ибо тамъ, гдѣ Господь захочетъ, тамъ онъ помогаетъ, и благословеніе его можетъ снизойти какъ на большія, такъ и на маленькія дѣла.

Особенно я прошу объ этомъ моего дорогого сына Іехіэля, ибо я замѣтилъ, что въ немъ очень сильно стремленіе къ барству.

Я прошу также дѣтей моихъ сохранить обычай отдавать каждый разъ передъ Новолѣтіемъ десятую часть прибыли въ пользу бѣдныхъ, и если, когда нибудь, Боже упаси, прибыли не будетъ если даже, упаси Боже, случится убытокъ, пусть такъ же раздаютъ милостыню, ибо это, несомнѣнно будетъ испытаніемъ, ниспосланнымъ Всевышнимъ.

Особенно прошу я о томъ, чтобы они ежедневно прочитывали не менѣе листа Талмуда и по крайней мѣрѣ по одной страницѣ «Началъ Мудрости».

Къ цадику пусть ѣздятъ, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ годъ.

Женщины пусть читаютъ на жаргонѣ «Кавъ-гаіошоръ» и по субботамъ и праздничнымъ днямъ «Ценэ-Уренэ». Въ годовщины моей смерти пусть цѣлый день читаютъ Тору, и женщины пусть раздаютъ милостыню... Главное — милостыня безъ огласки».

. . . .

III

Когда умеръ Морицъ Бендитзонъ (сынъ Беньомена), нашли записку на польскомъ языкѣ:

«Пусть пошлютъ телеграмму въ Парижъ и подождутъ съ погребеніемъ до пріѣзда сына.

Десять тысячъ я жертвую въ пользу общества попеченія о бѣдныхъ, проценты съ этого капитала ежегодно въ день моей смерти должны быть розданы нищимъ.

Десять тысячъ я завѣщаю на содержаніе одной койки въ больницѣ съ тѣмъ условіемъ, что койка будетъ носить мое имя.

На похоронахъ пусть раздаютъ милостыню.

Пошлите пожертвованія во всѣ Талмудъ-Торы. Меламеды съ дѣтьми пусть слѣдуютъ за гробомъ.

Наймите даіона или другого ученаго еврея для чтенія заупокойной молитвы.

Памятникъ закажите заграницей, по той модели, которую я оставляю.

Передайте сколько нужно денегъ обществу попеченія о бѣдныхъ, и пусть оно возьметъ на себя заботу о содержаніи могилы и памятника.

Фирма пусть носитъ названіе «Бендитзонъ-сынъ».

Что же касается»...

*

Мы опускаемъ опись имущества, перечень долговъ, подлежащихъ взысканію, и указанія, какъ вести дальше дѣло.

IV

«Я, *«Бендитзонъ-сынъ»*, ухожу изъ этого міра не отъ радости, не отъ печали, а отъ пустоты.

Великій мудрецъ былъ Аристотель, который говорилъ, что природа не терпитъ пустоты.

Міръ — это страшная машина. Каждое колесо исполняетъ свою особую работу, имѣетъ свое особое назначеніе. Испортилось колесо или износилось прежде времени — и оно само перестаетъ быть частью машины, переходитъ *изъ бытія въ ничто*.

Я больше не могу жить, потому что мнѣ здѣсь нечего дѣлать. Я больше ни на что не гожусь, потому что я свое отжилъ. Я выпилъ до дна чашу наслажденій, предназначенныхъ мнѣ судьбою, коснулся устами всего и упился всѣмъ, поглотилъ все, что мнѣ нужно было.

Меня многому учили, но не учили жить, не прожигая жизни.

Нѣтъ ничего въ мірѣ, что бы меня удержало, привязало къ себѣ... У меня не было недостатка ни въ чемъ, что имѣло бы для меня какую-нибудь цѣну. Мнѣ все доставалось безъ заботы, безъ огорченія и труда, — все само давалось въ руки...

Вещи и люди, — мужчины и женщины...

Всѣ мнѣ льстиво улыбались, и я не имѣлъ ни одного друга. Женщины меня охотно цѣловали, но ни одна изъ нихъ не была мнѣ нужна...

Я унаслѣдовалъ богатство, и оно росло и умножалось безъ меня, помимо моей воли.

Оно росло, пока не переросло меня самого.

Часто рыдало во мнѣ сердце: хотя бы одно желаніе, хотя бы одинъ разъ *быть вынужденнымъ* работать... А доктора прописывали мнѣ прогулки, игры, спортъ... Не жизнь, а суррогатъ жизни, фальсифицированная жизнь, фальсифицированный трудъ.

Много странъ видѣлъ я, но ни одна не была *моею*

страною, много мѣстностей восхищало меня, но ни одной изъ нихъ я не полюбилъ.

Я бѣгло говорилъ на многихъ языкахъ, но ни одного *не чувствовалъ* — я игралъ словами, какъ мячиками.

Народности и языки я мѣнялъ, какъ перчатки.

Весь міръ былъ моимъ, но я былъ слишкомъ ничтоженъ, чтобы удержать его, слишкомъ малъ, чтобы обнять его. Господствовать надъ міромъ я не могъ.

И то, чѣмъ я могъ бы овладѣть досталось мнѣ уже готовымъ.

Все было для меня сдѣлано, все куплено. И что еще не было сдѣлано — додѣлало богатство.

Все — улыбка на лицѣ друга... поцѣлуй прекрасныхъ губъ... заупокойная молитва по отцѣ... Въ лучшемъ случаѣ я кое-что выплачивалъ. Но давать, дарить — этому меня не научили...

Ничтожное стало для меня слишкомъ ничтожнымъ, великое — слишкомъ подавляющимъ. Жить стало не для чего.

Я умираю, потому что я безплоденъ, какъ тѣломъ, такъ духомъ. Во мнѣ нѣтъ ничего, что жило бы и давало жизнь...

Я уже давно пересталъ жить и наслаждаться жизнью. Теперь она мнѣ опротивѣла.

Со мной поступили, какъ поступаетъ мужикъ со свиньей: меня откармливали... Но мужикъ убиваетъ свинью, когда она въ достаточной мѣрѣ разжирѣетъ, мнѣ же велятъ самому убить себя, и у меня не хватаетъ смѣлости не подчиняться.

Мышьякъ на столѣ... послѣдній напитокъ, который опьянитъ меня, — и я уже не протрезвлюсь никогда...

Распорядиться-ли мнѣ своимъ состояніемъ? Зачѣмъ? Оно было моимъ проклятіемъ.

Благодарить мнѣ кого?

Нѣтъ, я всѣмъ и за все заплатилъ...

Даже за послѣдній напитокъ»...

ИЗЪ
ПУТЕВЫХЪ СИЛУЭТОВЪ

Предисловіе

То было въ концѣ добрыхъ и началѣ плохихъ временъ. Появились черныя тучи, но казалось, что вѣтеръ, — духъ времени, хочу я сказать, — унесетъ ихъ легко, и онѣ изольются гдѣ-нибудь въ пустынѣ. Въ благоустроенномъ вертоградѣ Европы горькій корень уже успѣлъ пробиться сквозь почву и послалъ наружу свои колючіе, уже отравленные отпрыски. Но вотъ-вотъ, казалось, виноградари замѣтятъ ихъ и вырвутъ съ корнемъ... Казалось, XIX вѣкъ на старости лѣтъ только слегка простудился, схватилъ небольшой жаръ. Чтобы отъ этого образовался тяжелый недугъ, родъ умопомѣшательства, этого никто не ожидалъ...

Какъ далека была отъ насъ тогда Америка! Не одинъ еврей задавался вопросомъ, какимъ образомъ стоитъ тамъ миска съ похлебкой, или не носятъ ли тамъ ермолку на ногахъ. О Палестинѣ слыхали столь же мало, сколько о баронѣ Гиршѣ или объ «извѣстномъ филантропѣ»...*

Астрономы заранѣе вычисляютъ время каждаго луннаго или солнечнаго затменія. Психологи же не ушли еще такъ далеко. Въ міровой душѣ затменіе

* Ротшильдъ.

наступаетъ разомъ, въ организмѣ начинается что-то вродѣ конвульсіи. И не только психологи не въ состояніи предсказать этого, но, — трудно повѣрить, — этого нельзя понять даже послѣ того, какъ оно совершилось...

Все-таки безпокойство какое-то уже ощущалось. Со всѣхъ сторонъ такъ и сыпались клевета за клеветой.

Въ числѣ другихъ средствъ борьбы рѣшено было познакомиться съ повседневной жизнью еврея, посмотрѣть, что творится въ маленькихъ мѣстечкахъ: на что надѣются? чѣмъ живутъ? чѣмъ занимаются? что говорятъ въ народѣ?...

Вѣра въ Провидѣніе

Первымъ я посѣтилъ Тишовецъ. Остановился я у своего знакомаго, ребъ Боруха. Онъ послалъ за синагогальнымъ служкой и нѣкоторыми обывателями. Въ ожиданіи ихъ прихода, я стоялъ у окна и смотрѣлъ на базаръ.

Большой четырехугольникъ, окруженный со всѣхъ сторонъ почернѣвшими, сгорбленными деревянными домишками, частью покрытыми гонтомъ, частью соломой. Дома одноэтажные, съ широкими навѣсами на гнилыхъ пожелтѣвшихъ балкахъ. Подъ навѣсами стоятъ рядами торговки съ баранками, хлѣбомъ, бобами и фруктами. Среди женщинъ сильное волненіе. Я, видно, произвелъ на нихъ глубокое впечатлѣніе.

— Чортъ тебя возьми! — кричитъ одна. — Чего ты пальцами тычешь? *Онъ* вѣдь видитъ!

— Придержи свой языкъ!

Женщины знаютъ уже, что я пріѣхалъ «записывать». Онѣ передаютъ другъ другу этотъ секретъ такъ тихо, что я въ комнатѣ слышу.

Слышатся разговоры:

— Это-таки онъ!

— Все-таки хорошо, что бѣдныя овцы имѣютъ пастырей, которые о нихъ не забываютъ.

— Однако, если бъ *тотъ* Пастырь не помогалъ, все было бы пустяки.

— Чтобъ Тотъ пастырь нуждался въ подобныхъ посланцахъ! — недоумѣваетъ одна.

Это намекъ на мою стриженую бороду и европейскій покрой платья. Другая, полиберальнѣе, приводитъ въ примѣръ врача:

— Ну, а врачъ — онъ тоже Богъ знаетъ что, а между тѣмъ...

— Это совсѣмъ другое, врачъ — исключеніе, но такъ — развѣ мало «порядочныхъ» евреевъ?

— Пусть бы они лучше, — говоритъ третья, — прислали нѣсколько сотенныхъ: очень мнѣ нужно ихъ «записываніе» — пусть мой сынъ *не* будетъ енераломъ!

. . . .

Сидя за столомъ, я оставался невидимкой, а самъ видѣлъ всѣхъ и все на цѣлыхъ полбазара. Мой хозяинъ между тѣмъ успѣлъ окончить молитву, сложилъ свой талесъ и филактеріи, досталъ водки и выпилъ за мое здоровье.

— За счастливую жизнь, — отвѣтилъ я.

— Чтобы Богъ далъ лучшія времена и послалъ заработокъ.

Какъ я завидую своему хозяину: ему недостаетъ только заработка. И онъ прибавляетъ съ нѣкоторою гордостью:

— И заработокъ *долженъ* быть, — вѣдь есть же Богъ на свѣтѣ, и цадики наши тоже не станутъ сидѣть сложа руки...

Я прерываю его и спрашиваю, почему, несмотря на свою вѣру въ Провидѣніе, несмотря на то, что онъ прекрасно знаетъ, что «Тотъ, Кто даетъ жизнь, даетъ и пищу», — онъ все-таки дѣлаетъ свое: торгуетъ, не спитъ по ночамъ и все думаетъ, что будетъ завтра, потомъ, черезъ годъ... Еврей, едва женится, уже начинаетъ думать о свадебномъ гардеробѣ для внуковъ. А лишь только дѣло доходитъ до *всего Израиля,* вѣра въ Провидѣніе такъ велика, что излишне даже пальцемъ о палецъ ударить...

— Дѣло, — отвѣчаетъ онъ, — совсѣмъ просто: «весь Израиль» это нѣчто совсѣмъ другое... Весь

Израиль это — ужъ дѣло Бога, у Него Свое на умѣ... И дѣйствительно, если бъ передъ Его престоломъ былъ позабытъ весь Израиль, нашлось бы кому и напомнить... И опять-таки... какъ долго это можетъ такъ продолжаться? Вѣдь *долженъ* же наступить конецъ: либо всѣ станутъ грѣшниками, либо всѣ праведниками!..* Тутъ ужъ не о заработкѣ дѣло идетъ!..

* По талмудическому сказанію, Мессія придетъ лишь тогда, когда человѣчество будетъ состоять либо изъ однихъ праведниковъ, либо изъ однихъ грѣшниковъ.

Иди!

Я вамъ забылъ сказать, что мѣстный раввинъ ни прійти ко мнѣ, ни принять меня у себя не пожелалъ. Онъ послалъ мнѣ сказать, что это не его дѣло, что онъ человѣкъ слабаго здоровья, что онъ уже нѣсколько недѣль сидитъ надъ однимъ труднымъ вопросомъ по законамъ о пищѣ, а, главное, что онъ теперь въ ссорѣ съ общиной изъ-за двухъ злотыхъ въ недѣлю, которыхъ не хотятъ прибавить къ его жалованью.

Пришли ко мнѣ человѣка три обывателей и двое синагогальныхъ служекъ.

Начинаю съ моего хозяина.

Жены у него нѣтъ, и онъ тутъ же оправдывается: «Сколько времени, вы думаете, ушло, какъ она умерла?..» Словомъ, вдовецъ. Три женатыхъ сына, одна замужняя дочь. Дома два мальчика и одна дѣвушка.

Онъ проситъ меня записать, что каждый изъ его сыновей, кромѣ младшаго, которому всего четыре года — вѣдь пока онъ будетъ призываться, придетъ еще Мессія — каждый изъ сыновей имѣетъ какой-нибудь физическій изъянъ...

За исключеніемъ двухъ старшихъ, женатыхъ сыновей, я зналъ уже всю семью. Замужняя дочь въ томъ же домѣ имѣетъ лавочку, въ которой она торгуетъ табакомъ, чаемъ, сахаромъ, а также съѣстными припасами; есть, кажется, въ лавочкѣ еще колесная мазь и керосинъ. Я еще утромъ купилъ у нея фунтъ сахару. Ей на видъ лѣтъ двадцать пять. Худое лицо,

длинный, согнутый носъ, который точно считаетъ черные, гнилые зубы въ полуоткрытомъ рту; изсиня-черныя, потрескавшіяся губы.

Младшая сестра, дѣвица, очень похожа на старшую, но у нея сохранилась еще «привлекательность невѣсты». Лицо болѣе свѣжее, покрытое румянцемъ, зубы болѣе бѣлые, и вся она не такъ растрепана, не такъ неряшлива, какъ та.

Затѣмъ — два мальчика, красивые мальчуганы, вѣрно, въ мать пошли. Розовыя щечки, симпатичные, застѣнчивые глазки, черныя кудри, въ которыхъ красуется изрядное количество пуха отъ подушекъ. Только держатся они скверно, поминутно подергиваютъ плечами, кривляются. Одѣты они въ сатиновые кафтаны, грязные, но цѣлые. Видно, мать умерла недавно: кафтаны успѣли загрязниться, но не успѣли порваться. Теперь кому заниматься ими? У старшей сестры четверо дѣтей, «ученый» мужъ и торговля; сестра-невѣста завѣдуетъ шинкомъ; у отца времени нѣтъ. — Чѣмъ вы занимаетесь? — спрашиваю я.

— Процентъ...

— Лихвой?

— Лихвой!.. Такъ себѣ...

— Хорошо это? Мало еще нареканій?..

— Знаете что, — отвѣчаетъ онъ, — нате вамъ весь мой хламъ: векселя, исполнительные листы, — все за 250 р. Только выплатите мнѣ чистоганомъ. Я тогда брошу не только лихву, но даже шинокъ! Далъ бы Богъ! я бы уѣхалъ тогда въ Іерусалимъ и — конецъ! Лишь бы наличныя деньги. Хотите, я сейчасъ распишусь. Вы думаете, это мы держимся за лихву?.. Она насъ держитъ... Люди не платятъ — растетъ долгъ; чѣмъ больше долгъ растетъ, тѣмъ меньше онъ стоитъ; чѣмъ меньше стоитъ, тѣмъ большимъ бѣднякомъ становлюсь я... Честное слово!

Передъ уходомъ я былъ свидѣтелемъ еще слѣдующей сцены. Пока я собиралъ свои орудія производ-

ства — бумагу, карандашъ, папиросы, ребъ Борухъ приготовилъ для дѣтей въ хедеръ по два куска хлѣба съ масломъ съ прибавкою по одному луковичному перу для каждаго.

— Теперь маршъ! — Онъ не хочетъ, чтобъ дѣти вертѣлись въ шинкѣ. Но младшій сиротка недоволенъ. Онъ подергиваетъ плечиками и готовъ заплакать. Его нѣсколько стѣсняетъ мое присутствіе, онъ ждетъ, чтобъ я ушелъ. Онъ не можетъ однако дождаться и начинаетъ плакать.

— Я хочу еще одно перо. Мама давала *мнѣ* два!

Сестра подбѣгаетъ къ шкафчику, вынимаетъ луковичное перо и подаетъ ему.

— Иди! — говоритъ она, но гораздо мягче, чѣмъ отецъ. Въ ея словахъ слышится тонъ матери.

Много ли нужно еврейкѣ?

Мы идемъ изъ дома въ домъ, начиная съ № 1. Я самъ узнаю, гдѣ живетъ еврей и гдѣ не-еврей: достаточно посмотрѣть на окна. Позеленѣвшія стекла, — а тѣмъ болѣе выбитыя, заткнутыя подушками и мѣшками, — признакъ представителя «избраннаго народа»... Зато цвѣты въ горшкахъ и занавѣски — самые точные указатели того, что здѣсь живетъ человѣкъ, не имѣющій монополіи на бѣдность...

Встрѣчаются и исключенія... Вотъ живетъ не-еврей, но завзятый, отчаянный пьяница... И наоборотъ: вотъ цвѣты и занавѣски, но тутъ читаютъ «Гацефиру»*.

Самое скверное впечатлѣніе производитъ на меня большой, деревянный, страннаго вида домъ. Онъ больше, чернѣе и грязнѣе всѣхъ домовъ въ мѣстечкѣ. Фасадъ сильно накренился на бокъ и печально глядитъ на свою подругу — такую же старую, черную развалину — на старую, исхудалую, согнувшуюся еврейку, которая пререкается со своей покупательницей — растрепанной, рыжеволосой служанкой, требующей, чтобъ фунтъ соли былъ съ походцемъ.

Мой спутникъ, синагогальный служка, указываетъ мнѣ на старуху: она и есть «домовладѣлица». Странно: эта еврейка что-то слишкомъ бѣдна, чтобы имѣть подобный домъ.

---

* Газета на древне-еврейскомъ языкѣ.

— Домъ этотъ, — объясняетъ служка, — собственно говоря, не ея. Она вдова, и ей принадлежитъ въ пожизненное владѣніе лишь одна шестая часть. Но наслѣдники, ея дѣти, живутъ не здѣсь, поэтому хозяйкой считается она.

— Сколько доходу приноситъ домъ?

— Ничего.

— А стоитъ?

— 1500 руб.

— И ни копейки дохода?

— Пустуетъ.

Мнѣ приходятъ на мысль домовые, — тамъ, вѣроятно, летятъ кирпичи, картофель...

— Нѣтъ, — говоритъ, улыбаясь, служка. — У насъ есть и *такихъ* два дома, которые дѣйствительно придется *снести*. Но здѣсь совсѣмъ другое: въ этомъ домѣ жилъ, видите ли, нѣкогда докторъ; онъ умеръ, такъ съ тѣхъ поръ домъ и стоитъ пустой.

— А что? Отъ заразной болѣзни умеръ?

— Упаси Богъ! — Такъ что же?

— Просто, некому жить въ немъ. Кто найметъ его?

— Что значитъ — кто?

— Ну да, кто? У насъ почти всякій имѣетъ наслѣдственную недвижимость. А тотъ, кто нанимаетъ квартиру, не займетъ отдѣльнаго дома, чтобы не тратиться на отопленіе. У насъ принято, что квартирантъ платитъ нѣсколько рублей въ годъ за отопленіе какого-нибудь угла. Кому нуженъ такой большой домъ?

— Зачѣмъ же построили подобный домъ?

— Ба!.. Когда-то! Теперь не нужно...

— Бѣдняжка!

— Какая она бѣдняжка? Торгуетъ солью, зарабатываетъ нѣсколько рублей въ недѣлю, изъ этого платитъ въ годъ 28 руб. налоговъ... А что остается, идетъ на жизнь... Много ли нужно еврейкѣ? Чего недостаетъ ей? Саванъ у нея уже заготовленъ.

Я еще разъ взглянулъ на старушку, и мнѣ уже казалось, что ей дѣйствительно ничего не достаетъ. Сморщенная кожа ея лица мнѣ даже улыбнулась: «*Много ли нужно еврейкѣ?*»

«№ 42»

Со спискомъ въ рукѣ я шелъ изъ дома въ домъ, по порядку номеровъ.

Изъ № 41 служка повелъ меня въ № 43.

— А № 42?

— Вотъ! — показываетъ онъ мнѣ на груду мусору въ узкомъ промежуткѣ между № 41 и № 43.

— Обвалился?

— Снесли, — отвѣчаетъ служка.

— Почему?

— Изъ-за брандмауэра.

Не понимаю.

Мы оба были утомлены отъ ходьбы и усѣлись на скамейку подъ навѣсомъ крыши. Служка сталъ разсказывать:

«Понимаете ли, по *ихъ* закону, если одинъ деревянный домъ недостаточно отдаленъ отъ другого, они должны быть отдѣлены другъ отъ друга брандмауэромъ. Какое должно быть разстояніе между домами, я не знаю, — кто ихъ тамъ разберетъ, — кажется, больше четырехъ локтей. Брандмауэръ считается *у нихъ* средствомъ противъ пожаровъ... Но этотъ домишко строилъ большой бѣднякъ, меламедъ Іерухимъ — изъ Ивановки, у котораго не хватило средствъ для постройки брандмауэра.

Вся его затѣя была, правда, построена на пескѣ. Потомъ, какъ вы услышите, у него былъ процессъ, и на судѣ жена его Малке, миръ праху ея, разсказала,

какъ все на самомъ дѣлѣ произошло. А исторія была такая:

Малке не разговаривала со своимъ мужемъ Менделемъ лѣтъ пятнадцать. Она отъ природы была женщина не изъ кроткихъ, не въ обиду будь ей сказано: высокая, худая, черномазая, съ острымъ, крючковатымъ носомъ. Рѣдко можно было отъ нея слово услышать, хотя она и была базарной торговкой. Да и не нужно было словъ! Отъ одного взгляда ея жутко становилось. Всѣ торговки ее пуще смерти боялись — такой ужъ глазъ у нея былъ! Само собою понятно, что ея молчаніе было ему лишь на руку: онъ ей тоже не говорилъ ни слова. И при такомъ взаимномъ молчаніи Богъ благословилъ ихъ двумя мальчиками и тремя дѣвочками.

Однако, соблазнъ стать домовладѣльцемъ сдѣлалъ ихъ обоихъ разговорчивыми. Разговоръ произошелъ между ними такой:

— Малке!

Она молчитъ.

— Малке!

Молчитъ. Онъ продолжаетъ звать: «Малке! Малке!»

А она ни звука.

Тогда Іерухимъ поднимается и выпаливаетъ:

— Малке! Я хочу построить домъ!

Тутъ ужъ Малке не удержалась и открыла ротъ. «Я подумала», разсказывала она: «что онъ съ ума сошелъ!»

И это дѣйствительно было сумасшествіе. По наслѣдству отъ прадѣдушки ему достался небольшой участокъ земли, тотъ, узенькій, который вы видѣли. Денегъ у него не было ни гроша. Пара жениныхъ сережекъ, которыя впослѣдствіи были проданы за 54 злотыхъ, лежали въ закладѣ круглый годъ, и лишь на субботу и праздники Іерухимъ бралъ ихъ подъ расписку.

Но когда соблазнъ беретъ себѣ на помощь фан-

тазію, кто устоитъ? Стоитъ Іерухиму молъ, выстроить домъ, — и онъ обезпеченъ всѣмъ. Онъ пріобрѣтетъ кредитъ, купитъ на выплату козу, и будетъ имѣть свое пропитаніе сидя дома. Одну комнату онъ сдастъ внаймы подъ шинокъ, а, если Богъ, благословено имя Его, поможетъ, она сама станетъ шинкаркой. А самое главное — дѣти обезпечены. Мальчиковъ онъ все равно пошлетъ въ іешиботъ, дочерямъ онъ выдастъ крѣпостныя записи, каждой на ея часть въ домѣ, и — конецъ!

На что, однако, строить!? Но тутъ у него такой расчетъ былъ:

— Я, — говоритъ онъ, — меламедъ, а ты — торговка, значитъ, у насъ два дѣла: съ одного мы будемъ жить, съ другого — строить.

— Что ты говоришь, сумасшедшій? — отвѣчаетъ Малке, — обоими заработками мы еле-еле перебиваемся.

— Какъ себя поставишь, — говоритъ онъ, — такъ Богъ, благословено имя Его, помогаетъ. А въ доказательство — смотри: у Ноаха-меламеда, сосѣда нашего, больная жена, которая не зарабатываетъ ни полушки, и *шестеро* дѣтей, — да будутъ они здоровы и крѣпки, — а живетъ онъ исключительно однимъ, *своимъ* заработкомъ.

— Что за сравненіе! Онъ извѣстный меламедъ, у него самые богатые ученики...

— А какая, по-твоему, тутъ причина? Что онъ ученѣе меня? Нѣтъ, и еще разъ нѣтъ! Но Богъ видитъ, что у него есть *одинъ только* заработокъ, такъ Онъ даетъ ему его въ достаточныхъ размѣрахъ. А что это такъ, я тебѣ еще примѣръ приведу. Черная Брохе, вдова, съ пятью дѣтьми, торговка только...

— Что ты говоришь, спятилъ ты? Та, — дай Богъ мнѣ этого, — имѣетъ въ дѣлѣ цѣлое состояніе, навѣрное, тридцать рублей!..

— Да не *это* главное, — объясняетъ онъ ей, —

главное то, что благословеніе Божіе она можетъ найти въ однихъ только яблокахъ. Всевышній управляетъ міромъ по естественнымъ законамъ... Кромѣ того, — убѣждаетъ онъ ее, — можно значительно сократить расходы, можно обойтись безъ многаго...

На томъ и порѣшили. Іерухимъ отказался отъ нюхательнаго табака, вся семья — отъ простокваши въ частности и отъ ужина вообще. И — начали строить!

Строили долгіе годы, но когда дѣло дошло до брандмауэра, у Малке ужъ не было товара, у Іерухима — силъ жить, старшій сынъ уѣхалъ, младшая дочь умерла, — а тутъ недостаетъ еще цѣлаго состоянія — рублей сорока на брандмауэръ!

Ну, что тутъ дѣлать? Сунули гминному писарю въ руку и — поселились безъ брандмауэра.

*

Поселился онъ съ великой радостью. «Братство носильщиковъ», членомъ котораго онъ состоялъ, — устроило ему новоселье. Выпили, безъ преувеличенія, цѣлую бочку пива, кромѣ водки и изюмнаго вина. Веселье было неописуемое...

Но продолжалась радость не долго. Какой-то обыватель поссорился съ сосѣдомъ Іерухима, меламедомъ Ноахомъ. Послѣдній былъ нѣкогда крупнымъ хозяиномъ, «фундаментальнымъ» богачомъ. Кромѣ дома, который остался у него и понынѣ, онъ имѣлъ и не одну сотню рублей чистоганомъ. Притомъ онъ велъ еще торговлю медомъ. Позже, когда у насъ начались распри изъ-за литовскаго раввина, донесли на его, Ноаха, сына (онъ до сихъ поръ служитъ въ полку съ больными легкими), и противъ него самого начали процессъ за поджогъ раввинскаго дома. Это дѣйствительно былъ разбой!

Доносы — дѣло привычное, но поджечь домъ со всѣхъ сторонъ — это ужъ по-разбойничьи! Причастенъ ли онъ былъ къ этому дѣлу или нѣтъ, я не

знаю, но процессъ и сынъ разорили его въ конецъ. И онъ сталъ меламедомъ. Какъ новоиспеченный меламедъ, онъ не выказывалъ особеннаго почтенія къ обывателямъ, и вотъ, отецъ одного изъ учениковъ, обидѣвшись, забралъ у него своего сынка и отдалъ его въ хедеръ къ Іерухиму.

Ноаху это было обидно. Сутягой онъ былъ всегда, въ управѣ торчалъ по цѣлымъ днямъ и ночамъ, языкомъ и перомъ владѣлъ, такъ вся исторія съ брандмауэромъ всплыла наружу, и на сцену появился старшій стражникъ.

Но тутъ Ноахъ раскаялся въ своей затѣе. Онъ самъ приложилъ всѣ старанія, чтобы дѣло замяли. Къ дѣлу «привѣсили монету,» — и концы въ воду!..

Все опять пошло бы на ладъ; но тутъ началась новая исторія изъ-за голубого цвѣта цицисъ. Іерухимъ — родзиневскій хасидъ и носитъ голубые цицисъ, а Ноахъ заклятый бельзенскій и кричитъ: «Гвалтъ!» Слово за слово, брандмауэръ опять всплылъ, и дѣло дошло до суда.

Вынесли заочное рѣшеніе: Іерухимъ въ теченіе мѣсяца долженъ или поставить брандмауэръ или снести домъ.

А у Іерухима ни гроша. Теперь уже Ноахъ не раскаивался (междоусобіе было въ самомъ разгарѣ) и больше ничего слышать не хотѣлъ про это дѣло. Іерухимъ потребовалъ его къ раввину, Ноахъ надавалъ пощечинъ посланному отъ раввина.

Когда Малке увидѣла, что имъ грозитъ плохой конецъ, она схватила Ноаха на улицѣ за шиворотъ и потащила его къ раввину. Весь базаръ полонъ былъ бельзенскихъ хасидовъ, но кто подступится къ женщинѣ?.. «Для мужчины, котораго побила женщина, нѣтъ ни суда, ни защиты». Жена Ноаха шла за ними и осыпала ее ужаснѣйшими проклятіями, но подойти близко боялась. У раввина Малке разсказала все отъ начала до конца. Она требовала, чтобъ Ноахъ помогъ или построить брандмауэръ или замять дѣло...

Но храбрый раввинъ зналъ, что кого онъ ни осудитъ, сторона потерпѣвшаго разсчитается съ нимъ, — и онъ выпутался такъ, какъ подобаетъ ученому еврею: онъ молъ не знаетъ, какъ рѣшить... вопросъ объ убыткахъ... бе... ме... онъ не можетъ устроить мировой — и рѣшаетъ: «Обратиться спорящимъ къ ребе».

Ну, «истецъ долженъ послѣдовать за отвѣтчикомъ.» Ноахъ согласился, Іерухимъ долженъ былъ подчиниться, — и отправились въ Бельзъ.

*

Передъ отъѣздомъ Іерухимъ оставилъ своему зятю довѣренность и нѣсколько рублей, которые ему удалось занять (а одолжали ему изъ состраданія), чтобы онъ подалъ апелляцію.

Но все шло шиворотъ на выворотъ. Зять эти нѣсколько рублей проѣлъ, или, *какъ онъ говоритъ*, потерялъ... Малке отъ всѣхъ этихъ огорченій слегла въ постель...

У ребе Іерухимъ, правда, выигралъ брандмауэръ и «судебныя издержки», но на обратномъ пути ихъ обоихъ, Ноаха и Іерухима, поймали на границѣ и домой привели по этапу.

Когда Іерухимъ вернулся, Малке покоилась уже на кладбищѣ, а домишко былъ снесенъ...

Мальчикъ

Миловидный сынокъ хозяина заѣзжаго дома, съ его некрасивыми гримасами, съ полными пуха локонами, не выходитъ у меня изъ головы. То онъ стоитъ передъ глазами моими съ луковичнымъ перомъ въ рукѣ и плачетъ, что ему не даютъ другого, то я слышу, какъ онъ при вечернихъ молитвахъ читаетъ кадишъ такъ не дѣтски-серіозно и грустно, что у меня сжимается сердце.

— Пойдемъ гулять, — предлагаю я ему.

— Гулять? — бормочетъ онъ.

Блѣдное личико покрывается легкимъ румянцемъ.

— Ты никогда не гуляешь?

— Теперь нѣтъ. Когда мама, миръ праху ея, была въ живыхъ, она брала меня съ собою гулять по субботамъ и праздникамъ... Отецъ же — долгоденствіе ему — велитъ посидѣть лучше за какой-нибудь священной книгой.

Этотъ разговоръ происходилъ уже подъ длиннымъ навѣсомъ для лошадей. Издали мерцаетъ на фонарѣ красный «щитъ Давида». Лица мальчика я не различалъ, но его худенькая ручка дрожала въ моей рукѣ.

Мы вышли на улицу.

Небо виситъ надъ Тишовицемъ, какъ темно-голубой плащъ съ серебряными пуговицами. Моему же спутнику оно, вѣроятно, казалось усѣянной серебряными блестками завѣсой передъ кивотомъ. Онъ, быть можетъ, мечтаетъ о подобномъ же мѣшечкѣ для

филактерій; лѣтъ черезъ пять-шесть онъ, пожалуй, получитъ подобный подарокъ отъ невѣсты.

Ночью мѣстечко имѣетъ совершенно другой видъ. Кучи мусора, покривившіеся домишки тонутъ въ «поэтически тихомъ лонѣ ночи», а окна и стеклянныя двери кажутся громадными, огненными, лучащимися багрянцемъ глазами...

На очагахъ, вѣрно, стоятъ горшки съ кипяткомъ для картофеля или клецокъ съ фасолью. Согласно статистическимъ расчетамъ, на одного человѣка въ Тишовицѣ приходится въ среднемъ 37 ½ руб. въ годъ, или приблизительно 10 коп. въ день. Если вспомните, что въ этотъ счетъ входятъ: плата меламеду, двоякая — молочная и мясная — посуда, субботы и праздники, лѣченіе и цадикъ, не считая побочныхъ расходовъ, — то вы поймете, что мясной бульонъ здѣсь большая рѣдкость, что клецки дѣлаются изъ гречневой муки и безъ яицъ, и кто знаетъ, кладется ли въ картофель какой-нибудь жиръ.

Въ нѣкоторыхъ домишкахъ, однако, совершенно темно. Тамъ ѣдятъ сухой кусокъ хлѣба съ селедкой или безъ нея, а можетъ быть, читаютъ лишь молитву на сонъ грядущій и ложатся безъ ужина... Въ одномъ изъ домиковъ стоитъ, должно быть, та вдова, которой такъ мало нужно, и бьетъ себя въ исхудалую грудь, читая длинную исповѣдь... Можетъ, она примѣряетъ свой саванъ... Вспоминаетъ про свое, обшитое золотой каймой, подвѣнечное платье; изъ старыхъ глазъ падаетъ слеза, и она посылаетъ въ темную ночь свою улыбку: «Много ли нужно еврейкѣ?»

У моего сиротки совсѣмъ другое на умѣ.

Подпрыгивая на одной ножкѣ, онъ задираетъ головку къ лунѣ, которая съ тупой важностью плыветъ между облаками. Онъ вздыхаетъ.

Замѣтилъ ли онъ падающую звѣзду? Нѣтъ...

— Ой, — говоритъ онъ, — какъ я бы хотѣлъ, чтобъ пришелъ Мессія! — А что?

— Я хочу, чтобы луна стала больше... Такъ жаль ея! Она, правда, согрѣшила, но такъ долго страдать... Вѣдь ужъ шестая тысяча идетъ*.

Всего только двѣ просьбы: отъ отца *земного* еще одно луковичное перо, а отъ Отца *Небеснаго,* чтобы *луна стала больше!*

Я съ трудомъ удерживаюсь отъ страстнаго желанія сказать ему: «Оставь! Земной отецъ твой скоро женится, будетъ у тебя мачеха, и ты будешь плакать изъ-за куска хлѣба. Откажись отъ луковичнаго пера, забудь и про луну»...

Мы вышли за городъ. Дыханіе весны несется съ зеленаго поля. Мальчикъ тащитъ меня къ дереву. Садимся.

— Тутъ, — приходитъ мнѣ мысль, — онъ, должно быть, сиживалъ съ своей матерью. Она ему, вѣроятно, показывала, что растетъ на этихъ полосахъ: онъ различаетъ пшеницу, рожь, картофель.

— А тутъ растетъ терновникъ! Никто не ѣстъ терновника?

— Ослы его ѣдятъ!

— Почему, — спрашиваетъ онъ, — Богъ сдѣлалъ такъ, что каждое живое существо питается особой пищей?

Онъ не знаетъ, что если бъ всѣ равно ѣли одно и то же, всѣ бы равны были...

---

* Согласно сказанію, Богъ создалъ солнце и луну одной величины. Но луна возроптала, и Богъ, въ наказаніе, уменьшилъ ея размѣры. Когда придетъ Мессія, она будетъ возстановлена въ первоначальной своей величинѣ.

Лящевъ

Въ темный лѣтній вечеръ, часовъ въ 11—12, я пріѣхалъ въ Лящевъ. Опять базаръ, окаймленный деревянными и каменными домишками. Посреди площади набросаны бѣлые камни. Подъѣзжаю ближе — камни двигаются, пріобрѣтаютъ рога, — превращаются въ стадо ослѣпительно бѣлыхъ козъ.

Козы разумнѣе обывателей Тишовица, онѣ не пугаются. Лишь двѣ или три изъ нихъ подняли головы, сонливо посмотрѣли на насъ и опять стали щипать скудную растительность на улицѣ и почесываться другъ о дружку!

Счастливыя козы! Никто не взводитъ на васъ ложныхъ обвиненій, вамъ нечего пугаться статистиковъ. Васъ, правда, берутъ на бойню, такъ что жъ? Кто же не умираетъ раньше времени? Зато страданій у васъ навѣрное меньше.

Припоминаю, что мнѣ сказали въ Тишовицѣ: «Въ Лящевѣ дѣло пойдетъ у васъ быстрѣе и легче: люди тамъ спокойные, тихіе, никто не будетъ бѣгать за вами».

Обыватели и козы въ Лящевѣ, видно, подходящая пара: одни похожи на другихъ.

Однако, хозяинъ заѣзжаго дома, мой старый знакомый, нѣсколько обезкураживаетъ меня:

— Не такъ-то легко, какъ думается, — говоритъ онъ.

— А что?

— Дай Богъ, чтобы вамъ отвѣчали!
— Почему же нѣтъ?
— Еврей не любитъ, чтобы у него считали въ карманѣ.
— А что, благословеніе Божіе уйдетъ?
— Нѣтъ, проклятіе войдетъ — кредитъ уйдетъ.

Попытка первая

Рано утромъ, еще до прихода синагогальнаго служки, ко мнѣ уже явилось нѣсколько евреевъ: имъ хочется видѣть «переписчика». Моя слава идетъ *впереди* меня.

Я дѣлаю первую попытку и обращаюсь къ одному:

— Добраго утра, ребъ коревъ!

— Добраго утра, шоломъ-алейхемъ.

Онъ нехотя подаетъ мнѣ руку.

— Какъ звать васъ, ребъ коревъ.

— Лейбе-Ицхокъ.

— А фамилія ваша?

— Зачѣмъ вамъ моя фамилія?

— А что, это развѣ секретъ?

— Секретъ не секретъ, но вы вѣдь мнѣ можете сказать, зачѣмъ вамъ знать ее... вѣдь это ужъ навѣрно не секретъ!

— Вы развѣ не знаете?

— Не совсѣмъ точно...

— Догадливый же вы человѣкъ!

— Беренпельцъ, — отвѣчаетъ онъ, нѣсколько устыдившись.

— Женаты?

— Этъ!

— Что значитъ «этъ»?

— Онъ хочетъ развестись! — отвѣчаетъ вмѣсто него другой.

— Сколько дѣтей?

Ему нужно подумать, и онъ считаетъ по пальцамъ:

«Отъ первой жены — мои: 1, 2, 3, ея 1, 2; отъ второй»... но ему надоѣдаетъ считать.

— Ну, пусть будетъ — шесть!

— «Пусть будетъ» не годится, мнѣ нужно знать точно.

— Видите ли, вотъ это «точно» не спроста. *Точно!* Зачѣмъ вамъ знать точно? Что вы чиновникъ, что ли? Платятъ вамъ за это? Поѣдетъ кто-нибудь вслѣдъ за вами и будетъ васъ контролировать? Точно!

— Говори, дуракъ, говори! — подталкиваютъ его другіе, — началъ, такъ говори!

Имъ хочется знать, какіе еще вопросы я задамъ.

Онъ еще разъ пересчиталъ по пальцамъ, и получилось, слава Богу, на 3 больше.

— Девять, да будутъ они здоровы и крѣпки.

— Сколько сыновей и сколько дочерей?

Ему опять приходится считать.

— 4 сына и 5 дочерей.

— Сколько сыновей поженили, сколько дочерей повыдали замужъ?

— Это вамъ тоже нужно знать? Скажите же мнѣ: зачѣмъ?

— Говори ужъ, говори! — кричитъ публика съ еще большимъ нетерпѣніемъ.

— Трехъ дочерей и двухъ сыновей, — отвѣчаетъ кто-то за него.

— Да? — говоритъ онъ, — а Сруликъ?

— Вѣдь онъ еще не женился!

— Ты оселъ! Его вѣдь въ эту субботу вызовутъ къ чтенію Торы! Что значитъ полторы недѣли?

Я записываю и спрашиваю дальше.

— Были на военной службѣ?

— «Оплаченный» я... 400 руб.! Гдѣ бы ихъ взять теперь? — вздыхаетъ онъ.

— А сыновья?

— У старшаго наростъ подъ правымъ глазомъ и

къ тому же, не про васъ будь сказано, онъ нѣсколько «надорванъ». Лежалъ въ трехъ госпиталяхъ, стоило больше, чѣмъ поженить его, и едва-едва изъ полка освободили. У второго льгота, третій служитъ.

— А гдѣ жена его?

— У меня, конечно! Что за вопросъ?

— Она вѣдь могла бы жить у *своего* отца.

— Голышъ!

— А домъ есть у васъ?

— Какъ же!

— Сколько онъ стоитъ?

— Если бъ онъ стоялъ въ Замостьѣ, онъ бы стоилъ что-нибудь, а тутъ онъ и гроша не стоитъ. Что жъ, квартира у меня есть.

— За сто рублей вы бы продали его?

— Упаси Богъ! Наслѣдство! За 300 и то нѣтъ; вотъ развѣ, — если бъ 500! Ну, такъ я бы нанялъ квартирку и открылъ торговлю...

— А теперь какое у васъ дѣло?

— У кого это есть дѣло?

— Чѣмъ вы живете?

— *Это* вы думаете?! Живешь!

— Чѣмъ?

— Богомъ. Если Онъ даетъ, — имѣешь.

— Не бросаетъ же Онъ съ неба.

— Именно — бросаетъ! Я знаю, чѣмъ я живу? Вотъ сосчитайте-ка: мнѣ нужно цѣлое состояніе — можетъ, четыре рубля въ недѣлю! Отъ дома, кромѣ квартиры, у меня имѣется 12 руб. доходу, изъ нихъ плачу 9 руб. налогу, 5 руб. на ремонтъ, остается «дыра въ карманѣ» на добрыхъ два рубля въ годъ.

Онъ начинаетъ даже входить въ азартъ:

— Денегъ, слава Богу, нѣтъ ни у меня, ни у стоящихъ здѣсь евреевъ, ни у евреевъ вообще. За исключеніемъ развѣ «франтовъ» въ большихъ городахъ... У *насъ* денегъ нѣтъ. Ремесла я не знаю: мой дѣдъ сапогъ не тачалъ. И все-таки, если Всеблагій хо-

четъ, я живу — и живу такъ вотъ ужъ лѣтъ 50 съ лишнимъ. А нужно женить кого-нибудь изъ дочерей — устраиваешь свадьбу и танцуешь по своему болоту.

— Итакъ, *что* же вы?

— Еврей!

— Что вы дѣлаете по цѣлымъ днямъ?

— Я изучаю Тору, молюсь... что дѣлать еврею?! Закусивъ, иду на базаръ...

— Что вы дѣлаете на базарѣ?

— Что я дѣлаю? Что удается. Вотъ вчера, напримѣръ, проходя по базару, я услыхалъ, что Іонѣ Борику поручено купить для какого-то помѣщика три драбины. На разсвѣтѣ я уже спѣшу къ помѣщику, который когда-то сказалъ, что у него много ихъ. Я вошелъ въ компанію съ Іоной Борикомъ, и мы заработали по полтора рубля на брата.

— Такъ вы, значитъ, маклеръ?

— Я знаю? Иногда мнѣ придетъ въ голову — и я покупаю мѣру хлѣба.

— Иногда?

— Что значитъ — иногда? Есть у меня деньги, я покупаю.

— А если нѣтъ?

— Достаю.

— Какимъ образомъ?

— Что значитъ «какимъ образомъ?»...

И проходитъ битый часъ, пока я узнаю, что Лейбе Ицхокъ Беренпельцъ отчасти даіонъ, выбирается въ третейскіе судьи, немного маклеръ, частью торговецъ, немножечко сватъ, а иногда и на посылкахъ послужитъ.

И всѣми этими, и перечисленными и забытыми, профессіями онъ зарабатываетъ, хотя съ большимъ трудомъ, хлѣбъ для всей семьи. Въ томъ числѣ и для снохи, потому что отецъ ея *совсѣмъ* голышъ...

Попытка вторая

Меня вводятъ въ лавчонку.

Нѣсколько пачекъ спичекъ, нѣсколько коробокъ папиросъ; иглы, булавки, шпильки, пуговицы; желтое и зеленое мыло; нѣсколько кусковъ пахучаго мыла домашней выдѣлки; немного пряностей и еще кое-какія мелочи; въ придачу, у стола лежитъ старая соха, — это уже предметъ побочнаго заработка.

— Кто здѣсь живетъ? — спрашиваю я.

— Вы вѣдь видите, — отвѣчаетъ мнѣ еврейка, продолжая расчесывать волосы десятилѣтней дѣвочкѣ, которая между тѣмъ, увернувшись изъ-подъ гребенки, большими, удивленными глазами осматриваетъ «гоя»; говорящаго по-еврейски!

— Положишь ты голову обратно? Безстыжая! — кричитъ мать.

— Какъ зовутъ вашего мужа?

— Мойше!

— По фамиліи?

— Чтобъ одна только фамилія его вернулась домой! — озлобляется она вдругъ. — Четыре часа, какъ пошелъ взять у сосѣдки горшокъ!

— Перестань галдѣть! — говоритъ синагогальный служка. — Отвѣчай, о чемъ тебя спрашиваютъ.

Служки она боится. Онъ одновременно и синагогальный служка и солтысъ — сборщикъ податей и притомъ еще пользуется вліяніемъ у войта.

— Кто галдитъ? Когда? Что? О своемъ мужѣ я ужъ тоже не имѣю права слова сказать?

— Какъ фамилія его? — спрашиваю я вторично.

Служка самъ вспомнилъ и отвѣчаетъ: «Юнгфрейдъ».

— Сколько у васъ дѣтей?

— Я очень прошу, ребъ коревъ, приходите послѣ, когда мой мужъ будетъ дома. Это его дѣло. Достаточно того, что у меня на плечахъ лавка и весь домъ, и шестеро дѣтей-пострѣловъ... Отстаньте хоть вы отъ меня!

Я записываю пока 6 дѣтей и спрашиваю, сколькихъ она успѣла выдать замужъ.

— Выдать замужъ! Если бъ я выдала замужъ, у меня бы меньше сѣдыхъ волосъ на головѣ было. До сѣдыхъ волосъ сидятъ онѣ у меня!

— У васъ только дочери?

— Трое парней тоже.

— Чѣмъ занимаются?

— Что имъ дѣлать? Пакости мнѣ дѣлаютъ!.. Рты голодные!

— Почему не отдаете въ обученіе къ какому-нибудь ремесленнику?

Она морщитъ носъ, бросаетъ на меня злой взглядъ и больше не хочетъ отвѣчать.

Мнѣ приходитъ счастливая мысль купить у нея пачку папиросъ. Лицо ея нѣсколько проясняется, и я спрашиваю дальше:

— Сколько зарабатываетъ вашъ мужъ?

— Онъ? Онъ зарабатываетъ? Можно развѣ поручить ему даже горшокъ взять по сосѣдству? Упаси Богъ, вотъ ужъ четыре часа, какъ его нѣтъ! А обѣдъ развѣ будетъ у меня сегодня по его милости?

Она опять вошла въ азартъ. Я вынужденъ былъ ретироваться и раздобыть ея мужа на улицѣ. Я его узналъ: онъ несъ горшокъ!

Въ дилижансѣ

(Отрывокъ)

I

Онъ разсказалъ мнѣ все разомъ, однимъ духомъ. Въ одну почти минуту я узналъ, что онъ — Хаимъ, зять Іоны изъ Грубѣшова, сынъ Береля изъ Конской Воли, что люблинскій богачъ Мееренштейнъ приходится ему дядей со стороны матери, миръ праху ея. Но дядя его уже ведетъ себя «совсѣмъ почти какъ гой»: ѣдятъ ли у него трефное, онъ не знаетъ, но что ѣдятъ, не совершая омовенія, это онъ самъ видѣлъ.

— Диковинные люди! — говоритъ онъ, — на лѣстницѣ протянуты какія-то длинныя полотенца; прежде, чѣмъ войти, нужно позвонить; въ комнатахъ разостланы по полу какія-то раскрашенныя скатерти; сидятъ они дома, словно въ тюрьмѣ; ходятъ безъ шуму, точно воры... Вообще, — говоритъ онъ, — у нихъ тихо, какъ, упаси Богъ, среди глухо-нѣмыхъ...

У жены его подобная же родня въ Варшавѣ. Но къ нимъ онъ не ходитъ, да они вообще голыши: «На что они мнѣ, а?»

У люблинскаго дяди не совсѣмъ такъ, какъ Богъ велитъ, но онъ хоть богачъ. Ну, походишь около жирнаго, и самъ жиромъ обрастешь, гдѣ пиръ, тамъ можно косточку облизать... Другіе же — голыши!

Онъ надѣется даже со временемъ получить у дяди какую-нибудь должность. Дѣла, — говоритъ онъ, — теперь плохія. Въ настоящее время онъ торгуетъ яйцами: скупаетъ ихъ по деревнямъ и доставляетъ въ

Люблинъ. Оттуда онѣ идутъ въ Лондонъ. Говорятъ, что тамъ ихъ кладутъ въ печи для обжиганія извести, и изъ нихъ выводятся цыплята... «Врутъ, должно быть: англичане попросту яйца любятъ!» Но такъ или иначе — дѣло пока въ упадкѣ.

Все-таки лучше, чѣмъ торговля хлѣбомъ: хлѣбная торговля совсѣмъ убита... Сейчасъ же послѣ свадьбы онъ сталъ хлѣбнымъ торговцемъ. Онъ еще былъ новичокъ, ему дали въ компаньоны опытнаго купца, такъ тотъ просто на просто обобралъ его...

II

Въ дилижансѣ было темно. Я лица Хаима не видалъ и до сихъ поръ не понимаю, какъ онъ узналъ во мнѣ еврея..: Когда онъ влѣзъ, я сидѣлъ въ углу и дремалъ, его голосъ разбудилъ меня. Во снѣ я не говорю... можетъ, *я вздохнулъ по-еврейски?* Можетъ, онъ почувствовалъ, что мой вздохъ и его вздохъ — одинъ и тотъ же?

Онъ мнѣ разсказалъ также, что жена его изъ Варшавы, и ей до сихъ поръ не нравится Конская Воля...

— Родилась она, видите ли, въ Грубѣшовѣ, но воспиталась въ Варшавѣ, у той «трефной» родни, — она была сиротой...

Въ Варшавѣ она нанюхалась *другихъ вещей:* мастерски знаетъ по-польски, а адреса по-нѣмецки читаетъ безъ запинки. Она говоритъ даже, что умѣетъ играть: не на скрипкѣ, а на какомъ-то другомъ инструментѣ... А вы кто? — хватаетъ онъ вдругъ меня за руку.

О снѣ больше и думать нечего, и притомъ онъ меня заинтересовалъ. Захолустный молодой человѣкъ, воспитанная въ Варшавѣ жена, жизнь въ маленькомъ мѣстечкѣ ей не нравится... Изъ этого кое-что да можетъ выйти, думаю я, нужно только разузнать подробно, кое-что прибавить и — готовъ романъ... А если я добавлю разбойника, каторжника, пару бан-

кротовъ и еще какое-нибудь чудовище — это будетъ «чрезвычайно интересный» романъ.

Я наклоняюсь къ своему сосѣду и говорю, кто я такой...

— Вотъ какъ, — говоритъ онъ, — вы это таки, вы сами?.. А скажите мнѣ, прошу васъ, откуда это берется у человѣка спокойная голова, да столько досуга, чтобы выдумывать сказки...

— Вотъ видите!

— Вы, должно быть, получили большое наслѣдство и живете на проценты...

— Упаси Богъ, мои родители еще живы, до ста двадцати лѣтъ...

— Такъ вы, должно быть,выиграли въ лоттерею?

— Также нѣтъ.

— Что же?

Я дѣйствительно не зналъ, что отвѣтить...

— Вы *этимъ* живете?

Даю ему чисто еврейскій отвѣтъ: бе!..

— И это весь вашъ заработокъ?

— Пока...

— О-ва! Сколько вы имѣете отъ этого?

— Очень мало.

— *Также* мертвое дѣло?

— Совсѣмъ мертвое.

— Плохія времена, — вздыхаетъ мой сосѣдъ.

Нѣсколько минутъ царило молчаніе. Но мой сосѣдъ не можетъ молчать.

— Скажите мнѣ, прошу васъ, зачѣмъ нужны эти сказки? Я не про васъ говорю, — оправдывается онъ, — упаси Богъ, еврею хлѣбъ нуженъ, такъ онъ хотя бы изъ стѣны да выцѣдитъ его — этому я совсѣмъ не удивляюсь... Чего еврей не сдѣлаетъ изъ-за куска хлѣба? Вотъ, не было оказіи, ѣду въ дилижансѣ, Богъ знаетъ, не сижу ли я на запретной ткани*... Но

* Изъ шерсти со льномъ.

публикѣ, думаю я, ей зачѣмъ нужны сказки? Какой въ нихъ прокъ? О чемъ тамъ пишется въ книжкахъ?

Не дожидаясь отвѣта, онъ самъ себѣ отвѣчаетъ:

— Это, должно быть, просто мода какая-нибудь, вродѣ кринолина, — на что только женщины не способны! — А вы, — спрашиваю я его, — вы еще *никогда* не читали книжекъ?

— *Вамъ* вѣдь я могу сказать, — кое-какое понятіе о нихъ я имѣю... вотъ этакое...

Онъ, повидимому, отмѣрилъ кончикъ пальца, чего за темнотою я видѣть не могъ.

— Васъ это все-таки интересовало?

— Меня? Упаси Богъ! Все это моя жена! Дѣло, видите ли, вотъ какъ было: этому будетъ лѣтъ ужъ пять-шесть, шесть-таки, черезъ годъ послѣ свадьбы, мы еще жили тогда у родителей... Она себя какъ-то плохо чувствовала, не больна была, упаси Богъ, оставалась на ногахъ, но такъ себѣ, не совсѣмъ здорова... Разъ спрашиваю я ее, что съ нею.

— Собственно говоря, — спохватывается онъ, — я не знаю, зачѣмъ я дурю вамъ голову подобными дѣлами...

— Наоборотъ, — говорю я ему, — разсказывайте, ребъ коревъ...

Сосѣдъ мой смѣется:

— «Солома нужна въ Египтѣ»? *Вамъ* нужны мои разсказы? Сами вы не можете ихъ *выдумать?*

— Разсказывайте, ребъ коревъ, разсказывайте...

— Для публики, видно, вы пишете неправду, а для себя хотите правды?

Что можно писать *правду,* ему даже и въ голову не приходитъ.

— Ну, — говоритъ онъ, — будь по-вашему...

III

— Что жъ, продолжаетъ мой сосѣдъ, — стыдиться нечего: мы жили въ отдѣльной комнатѣ, я былъ молодымъ человѣкомъ, болѣе внимательнымъ, нѣж-

нымъ, — спрашиваю я *ее,* что съ нею — она начинаетъ плакать...

Мнѣ становится страшно жаль ея. Кромѣ того, что она (чтобъ не сглазить, до 120 лѣтъ) — моя жена, она еще — *сирота,* на чужбинѣ, одинока...

— Что значитъ «одинока»?

— Моя мать, миръ праху ея, умерла, видите ли, года за два до моей свадьбы, а отецъ мой, миръ праху его, вторично не женился. Мать моя, да будетъ она нашей заступницей, была женщиной добродѣтельной, и мой отецъ не могъ ея забыть... Ну, такъ жена моя была *единственная* женщина дома... У отца, миръ праху его, никогда времени не было: онъ постоянно разъѣзжалъ по деревнямъ, торговалъ чѣмъ попало: яйцами, масломъ, тряпьемъ, щетиной, холстомъ.

— А вы?

— Я сидѣлъ въ бетъ-гамедрашѣ надъ книгами!.. Ну, женщина одна, думалъ я, жутко ей... Но зачѣмъ же плакать? «Нѣтъ», говоритъ она; «мнѣ скучно»... Скучно? Что это значитъ?

Я видѣлъ, что она ходитъ, точно сонная. Говоришь ей что-нибудь — она ничего не слышитъ, задумывается иной разъ, уставится въ стѣну и смотритъ, смотритъ... Иной разъ шевелитъ губами, но голоса не слыхать... Но что значитъ «скучно»? Все бабскія выдумки: еврей, мужчина, не скучаетъ... Еврею некогда скучать: онъ или сытъ или голоденъ; или за дѣломъ, или въ бетъ-гамедрашѣ, или спитъ... если ужъ *совсѣмъ* нечего дѣлать — куритъ трубку, но — скучать?!

— Не забудьте, — говорю я ему, — женщина — безъ изученія Торы, безъ общественныхъ дѣлъ, безъ 613 религіозныхъ правилъ...

— Въ этомъ-то и вся суть. Я тотчасъ же началъ догадываться, что скука это — ничегонедѣланіе, отъ котораго можно съ ума сойти. Наши мудрецы это уже давно замѣтили своимъ святымъ духомъ... Читали вы, къ чему приводитъ бездѣлье?

По закону, женщина не должна ходить безъ дѣла. Я ей и говорю: дѣлай что-нибудь! А *она* отвѣчаетъ, что хочетъ «читать»!

«Читать» было для меня также страннымъ словомъ... Было ужъ, правда, извѣстно, что у тѣхъ, которые учатся писать, «учиться» значитъ — читать книжки и газеты. Но я еще тогда не зналъ, что она такая ученая... Она со мною говорила еще меньше, чѣмъ я съ нею. Она хотя женщина рослая, но голову всегда держала опущенной, губы сжатыми, будто двухъ словъ сказать не умѣетъ... Она вообще была тихая — овечка. И постоянно на лицѣ ея была разлита такая озабоченность, словно у нея корабль съ невѣсть какимъ добромъ затонулъ. Она хочетъ — говоритъ она — читать. И что? — по-польски, понѣмецки... Хотя-бы на жаргонѣ, только бы читать...

А тутъ въ Конской Волѣ и слѣда какой-нибудь книжки нѣтъ. Мнѣ было жаль ея, отказать ей я не могъ, и я обѣщалъ, когда поѣду къ дядѣ въ Люблинъ, купить для нея книжки...

— А у *тебя* ничего нѣтъ? — спрашиваетъ она.

— У меня? Упаси Богъ!

— Что же ты дѣлаешь по цѣлымъ днямъ въ бетъ-гамедрашѣ? — Я учу Тору. — Я тоже хочу учить Тору.

Я ей объясняю, что Талмудъ — не книжка какая-нибудь, что онъ не для женщинъ; есть даже толкованіе въ Талмудѣ, что женщины не имѣютъ права изучать Талмудъ, что Талмудъ — то же, что библейскій языкъ.

Но ничто не дѣйствовало. Если бъ объ этомъ узнали въ Конской Волѣ, меня бы камнями закидали, — и они были бы правы. Я не стану распространяться дальше, а разскажу вкратцѣ: она такъ долго просила меня, плакала, умоляла, такъ долго и такъ часто, что она добилась своего — каждый вечеръ я прочитывалъ и переводилъ ей страницу изъ Талмуда... Но я заранѣе зналъ, чѣмъ все это кончится...

— А чѣмъ кончилось?

— Будьте покойны... Я принялся читать изъ трактата «Н'зикинъ»* и таки съ комментаріями Раши, Тосфосъ, Маршо... Я барабанилъ, а она каждый вечеръ — засыпала... Не дѣло это для женщины — Талмудъ!

Къ счастью, въ снѣжную метель, разыгравшуюся въ томъ году, въ Конскую Волю забрелъ сбившійся съ дороги книгоноша, и я принесъ ей пудъ, цѣлый пудъ всякихъ книжекъ... Тогда все пошло наоборотъ: читала мнѣ она, а засыпалъ *я*.

— И до сихъ поръ, — закончилъ онъ, — я не знаю, зачѣмъ эти книжки. Для мужчинъ онѣ навѣрное не годятся. Можетъ, вы пишете только для женщинъ?

IV

Между тѣмъ начинало свѣтать.

Въ полутемномъ дилижансѣ вынырнуло желтое, длинное и худое лицо моего сосѣда, пара усталыхъ, красныхъ, съ темными кругами, глазъ.

Онъ видно собирался приступить къ утренней молитвѣ: сталъ тереть концы пальцевъ о запотѣвшія стекла дилижанса. Но я прерываю это занятіе:

— Скажите мнѣ, пожалуйста, прошу извиненія: *теперь* ваша жена уже — довольна?

— Что значитъ довольна?

— Она ужъ не скучаетъ?

— У нея теперь лавчонка съ солью и селедками... одинъ ребенокъ у груди, двухъ нужно чесать и мыть. Одни носы держать у нихъ чистыми — и того довольно на цѣлый день...

Онъ снова третъ пальцами стекло, но я опять мѣшаю ему:

— Скажите мнѣ, ребъ коревъ: какъ выглядитъ ваша жена?

Мой сосѣдъ поднимается, бросаетъ на меня косой

* Трактатъ о правонарушеніяхъ.

взглядъ, осматриваетъ съ ногъ до головы и строго спрашиваетъ:

— А что, вы знакомы съ моей женой? Изъ Варшавы, что ли?

— Упаси Богъ, — отвѣчаю я ему, — я такъ себѣ спрашиваю: можетъ, я буду въ Конской Волѣ, такъ я хочу ее узнать.

— Вы хотите ее узнать? — улыбается онъ, успокоившись. — Пожалуйста! Вотъ вамъ примѣта: у нея родинка на лѣвой ноздрѣ... . . . .

. . . .

СКАЗКИ И КАРТИНКИ

Іомъ-Кипуръ

(Судный день)

Народная сказка

Въ Голландіи, на песчаномъ морскомъ берегу жила въ полуразрушенной избушкѣ «нѣмая душа» — рыбакъ-еврей, по имени «Сатье», названный такъ, быть можетъ, въ память его прадѣда Саадія, — въ точности онъ и самъ этого не зналъ, какъ и вообще зналъ очень мало о евреяхъ и еврействѣ. Да и откуда ему было знать? Родъ его изъ поколѣнія въ поколѣніе занимался рыболовствомъ, самъ онъ цѣлые дни и мѣсяцы проводилъ на морѣ, вокругъ него жили крестьяне. Сатье ловилъ рыбу, жена его плела сѣти и вела хозяйство, а дѣтки играли на песку и искали янтарь. Когда же Сатье уходилъ въ море, а тамъ поднималась буря, которая угрожала его жизни, то ни онъ на морѣ, ни домочадцы у себя не умѣли прочесть даже «Шма Исроэль». Тогда Сатье устремлялъ взглядъ въ небо, жена его била себя кулаками въ голову, или со злобой глядѣла на хмурое темное небо, а дѣти бросались на песокъ и вмѣстѣ съ другими дѣтьми кричали: «Пресвятая Марія, Пресвятая Марія!»

И откуда имъ было научиться чему-нибудь?

Ходить въ городъ, гдѣ имѣлась еврейская община, было далеко. Такой роскоши, какъ ѣзда, бѣдняки не могли себѣ позволить. Да кромѣ того, море и не отпускало рыбака. Отецъ Сатье, его дѣдъ и прадѣдъ погибли въ волнахъ морскихъ. Но странная въ морѣ

сила. Оно злѣйшій врагъ человѣка, часто врагъ коварный, а люди любятъ его, оно ихъ притягиваетъ къ себѣ. И не оторваться отъ него, если хочешь жить и умереть близъ него.

*

Одинъ только еврейскій праздникъ соблюдала эта семья — Іомъ-Кипуръ.

Утромъ, наканунѣ этого праздника, выбирали самую большую рыбу, и всей семьей отправлялись въ городъ. Рыбу отдавали городскому рѣзнику и у него же заговлялись и разговлялись.

Цѣлыя сутки семья сидѣла въ тамошней синагогѣ, слушала пѣніе хора, игру на органѣ и своеобразныя мелодіи кантора. Никто изъ нихъ не понималъ ни слова. Смотрѣли на ковчегъ, на проповѣдника въ златотканной шапочкѣ. Поднималась эта шапочка — и всѣ вставали, шапочка опускалась — и всѣ садились. Когда усталый Сатье, бывало, задремлетъ, сосѣдъ локтемъ толкнетъ его: пора подниматься.

Въ этомъ состоялъ весь ихъ праздникъ. Сатье не зналъ, что это «Судный день», и что въ этотъ день «даже рыба въ водѣ трепещетъ», не зналъ и того, что въ этотъ день происходитъ на небѣ, онъ зналъ, что существуетъ обычай слушать въ этотъ день игру на органѣ, поститься, а послѣ «Неила» (онъ и названія этой молитвы не зналъ) нужно идти къ рѣзнику на ужинъ... Нельзя сказать, чтобы самъ рѣзникъ зналъ много больше. На то и Голландія!

Сейчасъ послѣ чернаго кофе Сатье, жена и дѣти вставали, прощались съ рѣзникомъ и его домочадцами, обмѣнивались пожеланіями всякихъ благъ и впродолженіе всей ночи ходили къ морю. Они такъ и говорили: «къ морю», а не «домой».

Ихъ нельзя было уговорить остаться.

— Помилуйте, — говорили рѣзникъ и его жена, — вѣдь вы даже города не видѣли.

Сатье презрительно улыбался въ отвѣтъ: — Городъ!

Сатье далеко не краснорѣчивъ: море пріучаетъ къ молчанію. Города онъ не любитъ: тамъ тѣсно, нѣтъ воздуха, неба не видать, только полоска какая-то между крышами... На морѣ же просторъ, дышишь полной грудью...

— Вѣдь оно же вашъ врагъ, смертельный врагъ!

— Но смерть отъ него сладка!

Онъ хочетъ умереть смертью отца, и дѣда, — хочетъ, чтобы море поглотило его въ расцвѣтѣ силъ и здоровья, не хочетъ хворать и медленно умирать... слушать плачъ... потомъ быть похороненнымъ... въ жесткой землѣ... Бррр!

Дрожь пробираетъ его, когда онъ рисуетъ себѣ такую смерть...

Они идутъ пѣшкомъ домой, къ морю...

*

Идутъ всю ночь. Когда занимается день, и они видятъ раньше отливающій золотомъ песчаный берегъ, потомъ сверкающую поверхность воды, они въ восторгѣ хлопаютъ въ ладоши...

Женихъ не можетъ такъ обрадоваться невѣстѣ.

И такъ изъ года въ годъ.

Мѣняются рыбаки, рѣже мѣняются рѣзники, но обычай остается тотъ же.

Обычай этотъ олицетворяется въ постѣ, хорѣ и органѣ, тѣсно сплетается съ большой рыбой, съѣдаемой послѣ «Неила» у рѣзника, прощаніемъ и добрыми пожеланіями.

Это — единственная нить, связывающая Сатье съ роднымъ народомъ.

*

Раннее утро. Еле заалѣлъ востокъ. Море просыпается, но оно еще спокойно, оно едва дышитъ. Говоръ его еле слышенъ; лѣниво потягивается оно спро-

сонья. Въ голубомъ воздухѣ изрѣдка блеснетъ бѣлое крыло, пронесется крикъ чайки... И снова становится тихо... Тихо скользятъ лучи по водяной поверхности; золотыя пятна сверкаютъ на желтомъ пескѣ... Рыбачьи избушки на морскомъ берегу еще заперты. Но вотъ скрипнула дверь — въ ней показывается Сатье.

Сегодня канунъ Іомъ-Кипура, и кротко, и серьезно его лицо. Тихо свѣтятся глаза. Онъ собирается совершить благочестивое дѣло: поймать рыбу для этого высокоторжественнаго дня.

Онъ идетъ къ лодкѣ, берется за цѣпь. Цѣпь издаетъ звонъ... И отовсюду раздаются крики:

— Не ходи, не ходи!

То кричатъ сосѣди, высовывая головы изъ своихъ маленькихъ оконецъ.

Спокойное и тихое во всю ширь раскинулось море. Оно слилось съ яснымъ, смѣющимся, веселымъ небомъ. Море еле дышитъ, еле шелохнется у берега, и на его поверхности разлита свѣтлая, нѣжная улыбка, — улыбка доброй бабушки... Оно нѣжно бормочетъ что-то, разсказываетъ сказку обломкамъ скалъ, точно кудрями, оплетеннымъ длинными водорослями. Улыбаясь, оно игриво гладитъ ихъ по этимъ кудрямъ... Но рыбаки знаютъ море и не довѣряютъ ему.

— Не ходи!

Теперь море тихо колышется, но скоро оно взволнуется, и помутится зеркальная поверхность его водъ, и шутки превратятся въ нѣчто грозное, бормотанье перейдетъ въ крикъ и ревъ, а легкая пѣна станетъ валами, которые будутъ поглощать челноки и лодки, какъ исполинская рыба Левіаѳанъ поглощаетъ мелкую рыбешку... — Не ходи!

Изъ одной избушки выходитъ босой старикъ, съ развѣвающимися сѣдыми волосами, съ морщинистымъ, какъ у моря, лицомъ, но безъ его сладкой, коварной улыбки... Онъ подходитъ къ Сатье, кладетъ ему руку на плечо и говоритъ: — Смотри!

Онъ указываетъ на черную точку, замѣтную только для глазъ рыбака.

— Изъ этого выростетъ туча!

— Я успѣю раньше вернуться, — отвѣчаетъ Сатье. — Я долженъ поймать одну рыбу.

Еще угрюмѣе становится лицо старика:

— У тебя жена и дѣти.

— Но есть на небѣ Богъ! — отвѣчаетъ Сатье.

Онъ идетъ совершать богоугодное дѣло... Онъ отталкиваетъ лодку отъ берега и прыгаетъ въ нее.

Какъ перышко, несется лодка по морю. Море качаетъ ее, тихо, нѣжно мурлыкая. Оно покрываетъ ее своими жемчужными брызгами. На берегу стоитъ старый рыбакъ и шепчетъ:

— Пресвятая Марія! Пресвятая Марія!

Легко скользитъ лодка по волнамъ. Съ ловкостью Сатье закидываетъ сѣть, и все тяжелѣе и тяжелѣе становится она. Съ трудомъ онъ вытаскиваетъ ее, но находитъ однѣ лишь водоросли и морскія звѣзды — рыбы нѣтъ ни одной.

Уже исчезла лодка изъ глазъ стараго рыбака, стоящаго на берегу. Въ третій или четвертый разъ Сатье вытаскиваетъ сѣть — не легкое это дѣло. Водоросли запутались въ петляхъ, но рыбы — ни единой.

Море волнуется все сильнѣе. Солнце взошло, но не ярко свѣтитъ оно сегодня. Ликъ его будто заплаканъ. А черное пятнышко на горизонтѣ разрослось, развернулось, какъ багровый драконъ, все темнѣетъ и надвигается на солнце.

Сатье продолжаетъ грести, дожидаясь счастливаго улова. Уже полдень.

— Богу, — размышляетъ онъ, — неугодно мое дѣло, онъ не хочетъ, чтобы я выполнилъ его въ этомъ году. Надо вернуться.

Печаль закрадывается въ его душу. Навѣрное онъ согрѣшилъ, если Богъ не хочетъ принять его жертвы. Онъ крѣпче налегаетъ на весла и хочетъ повернуть

лодку, но въ это мгновеніе что-то брызнуло ему прямо въ лицо. Онъ поворачивается и видитъ, что крупная, золотистая рыба рѣзвится и бьетъ хвостомъ по водѣ...

Вотъ! Эту рыбу онъ долженъ поймать, ее послалъ ему самъ Господь, который видѣлъ его горе, его страстное желаніе выполнить святое дѣло... Онъ поворачиваетъ и начинаетъ гоняться за рыбой.

Море уже разбушевалось. Волны подымаются все выше и выше... Уже туча закрыла полсолнца, изъ-подъ нея вырываются снопы побѣлѣвшихъ лучей. Рыба плыветъ по гребнямъ волнъ, а за ней спѣшитъ челнокъ Сатье... И вдругъ рыба исчезаетъ... Между нею и лодкой появляется поднятый вѣтромъ грозный валъ...

— Это навожденіе, — думаетъ Сатье и снова пытается повернуть лодку. Волна улеглась, будто провалилась въ бездну... Рыба подплываетъ почти къ самой лодкѣ и глядитъ на Сатье своими большими глазами, какъ будто проситъ его: бери же меня, бери! Соверши черезъ меня благочестивый обычай...

Снова поворачиваетъ Сатье лодку, но рыба уже исчезла. Новая волна встала между нею и рыбакомъ — и море бушуетъ. Не тихую пѣсню поетъ оно теперь, возмущенное тѣмъ, что человѣкъ осмѣливается въ такое время плыть по немъ, попирать его волны! И солнце какъ будто испугалось разгнѣваннаго моря. Этого какъ будто и ждалъ вѣтеръ. Онъ разорвалъ свои оковы и съ дикой яростью бросается на море, мечется по немъ, хлещетъ его, и море еще больше волнуется, бурлитъ, гудитъ такъ, какъ будто въ немъ сокрыты тысячи литавровъ и трубъ...

Сатье начинаетъ безпокоиться. «Домой, домой», думаетъ онъ. И онъ убираетъ сѣти въ лодку, сильнѣе налегаетъ на весла и гребетъ изо всѣхъ силъ. Жилы на его рукахъ напрягаются такъ, что готовы лопнуть. Лодку кидаетъ по волнамъ, какъ орѣховую скорлупу. Мрачно небо, мрачна разверзшаяся пучина морская. Сатье спѣшитъ домой.

Вдругъ онъ замѣчаетъ около лодки человѣческое тѣло. Это утопленникъ... женщина. Онъ видитъ волосы, черные волосы, — совсѣмъ такіе, какъ у его жены... Показываются бѣлыя руки — у его жены такія руки! И голосъ раздается: спаси меня!.. То голосъ его жены, матери его дѣтей... Она тонетъ, она зоветъ его на помощь...

Онъ поворачиваетъ лодку направо и хочетъ подплыть къ утопленницѣ, но море не пускаетъ. Между ними встаютъ громадныя волны. Вѣтеръ реветъ и воетъ, но ясно доносится крикъ: «На помощь, Сатье, на помощь!»

Онъ напрягаетъ послѣднія силы. Вотъ онъ уже недалеко отъ бѣлѣющагося тѣла. Волосъ онъ не видитъ, онъ видитъ только мелькающее, готовое исчезнуть платье... вотъ онъ настигаетъ весломъ... Но вдругъ между нимъ и женой встаетъ новый валъ, бросаетъ ее въ одну сторону, его — въ другую...

— Навожденіе, — думаетъ онъ, вспоминая, что то же было и съ золотой рыбой, и невольно онъ устремляетъ взглядъ на берегъ. Уже засвѣтились окна избушекъ.

— Іомъ-Кипуръ, — мелькаетъ у него мысль, и онъ выпускаетъ весло изъ руки.

— Дѣлай со мной, что хочешь, — кричитъ онъ, обращаясь къ небу, — но въ Іомъ-Кипуръ я не стану грести.

А вѣтеръ все бушуетъ. Волны играютъ лодкой, а Сатье не дотрагивается до веселъ, сидитъ неподвижно и глядитъ то на спокойное небо, то на бѣснующееся море.

— Боже великій, дѣлай со мной, что хочешь! Да будетъ воля Твоя!

Вдругъ онъ вспоминаетъ мелодію, которую онъ слышалъ въ синагогѣ подъ аккомпаниментъ органа, и начинаетъ пѣть. У этой нѣмой души нѣтъ другого нарѣчія, на которомъ она могла бы обратиться къ

Богу, — и Сатье поетъ. Небо все темнѣетъ, волны вздымаются выше и выше, вѣтеръ сталъ еще болѣе рѣзкимъ... Лодку кидаетъ вверхъ и внизъ, отъ одной волны къ другой... Одна уноситъ весло, другая съ раскрытой пастью налетаетъ сзади, вѣтеръ воетъ, какъ стая волковъ, и Сатье поетъ: «Кому покой, кому скитальчество» подражая мелодіи хора подъ аккомпаниментъ органа.

Волны все сильнѣе ударяютъ въ борта лодки. Сатье съ пѣніемъ хочетъ встрѣтить смерть... Лодка опрокидывается... Но не насталъ еще часъ его смерти.

По волнамъ идутъ держась за руки два бѣлыхъ призрака — босикомъ, съ распущенными волосами и сіяющими глазами. Когда шквалъ опрокидываетъ лодку, они приближаются, поднимаютъ Сатье и идутъ съ нимъ, поддерживая его съ обѣихъ сторонъ... Идутъ по волнамъ, точно по полямъ и лугамъ, и ведутъ его средь шума и грохота. Онъ хочетъ что-то сказать, о чемъ-то спросить, но они ему говорятъ:

— Пой, Сатье, пой! Голосъ твой побѣдитъ гнѣвъ пучинъ морскихъ!

*

Они идутъ, и Сатье слышитъ, какъ лодка слѣдуетъ за ними... Онъ оглядывается, — тамъ и лодка, и сѣть, а въ ней запуталась золотистая рыба.

Довели его до берега и велѣли итти домой. А тамъ онъ засталъ рѣзника и его жену.

Въ городѣ случился пожаръ, и они пришли сюда въ гости.

Рыбу сварили, и обычай былъ и въ этомъ году свято соблюденъ.

Бонце-молчальникъ

Здѣсь, на *этомъ* свѣтѣ, смерть Бонце-молчальника прошла совершенно незамѣченной. Попробуйте спросить, зналъ ли кто-нибудь, *кто* такой былъ Бонце, *какъ* онъ жилъ, *отчего* онъ умеръ: отъ разрыва сердца, отъ истощенія силъ, или, можетъ быть, у него позвоночникъ переломился отъ непомѣрной ноши... Кто его знаетъ? А можетъ быть, онъ совсѣмъ умеръ съ голода?

Если бы пала одна изъ лошадей, везущихъ конку, это скорѣе привлекло бы вниманіе. Объ этомъ было бы написано въ газетахъ, сотни людей сбѣгались бы съ разныхъ улицъ, чтобы посмотрѣть на несчастное животное и даже на то мѣсто, гдѣ произошла катастрофа...

Впрочемъ, у лошадей то преимущество, что ихъ не такъ много, какъ людей.

Тихо Бонце прожилъ свой вѣкъ, тихо онъ и умеръ. Какъ тѣнь, онъ прошелъ по міру, по *нашему* міру.

При обрѣзаніи Бонце не было вина, не звенѣли бокалы. При баръ-мицво* онъ не произнесъ блестящей рѣчи... Онъ жилъ, какъ незамѣтная песчинка на морскомъ берегу, среди милліоновъ себѣ подобныхъ. Когда же вѣтеръ поднялъ эту песчинку въ воздухъ и перенесъ на другой берегъ, никто этого не замѣтилъ.

При жизни слѣдъ отъ его ноги не запечатлѣлся даже на размокшей землѣ, а послѣ смерти вѣтеръ

* Тринадцатилѣтній возрастъ — начало религіозной правоспособности.

сбросилъ маленькую дощечку, поставленную на его могилѣ. Жена могильщика нашла эту дощечку и сожгла ее, сваривъ горшокъ картошки... Прошли всего три дня, а могильщику уже ни за что не вспомнить, гдѣ похороненъ Бонце.

Будь у Бонце надгробный памятникъ, то, можетъ быть, черезъ сто лѣтъ какой-нибудь археологъ и нашелъ бы его, и имя «Бонце-молчальникъ» еще разъ прозвучало бы въ *этомъ* мірѣ.

Прошелъ, какъ тѣнь. Образъ его не запечатлѣлся ни въ умѣ, ни въ сердцѣ хотя бы одного человѣка. И слѣда отъ него не осталось.

Ни кола ни двора. Одинокимъ жилъ, одинокимъ и умеръ.

Если бы не суетня, среди которой жили люди, то кто-нибудь, пожалуй, и услыхалъ бы, какъ трещалъ позвоночникъ Бонце подъ тяжелой ношей. Если бы люди не были такъ страшно заняты, то кто-нибудь, можетъ быть, и замѣтилъ бы, что у Бонце (тоже душа живая) уже при жизни были потухшіе глаза и страшно впалыя щеки; замѣтилъ бы, что и не навьюченный ношей онъ ходитъ, наклонивъ голову, какъ будто еще при жизни высматриваетъ себѣ могилу. Если бы людей было такъ же мало, какъ лошадей, везущихъ конки, то кто-нибудь, можетъ быть, и спросилъ бы: «А куда это дѣлся Бонце?»

Когда Бонце увезли въ больницу, уголъ, занимаемый имъ раньше въ подвалѣ, не остался незанятымъ: его уже ждали человѣкъ десять, такихъ же, какъ Бонце, и разыграли между собою по жребію. Перенесли Бонце съ больничной койки въ мертвецкую, — и оказалось, что койки уже дожидаются десятка два больныхъ бѣдняковъ... Когда его вынесли изъ мертвецкой, туда внесли двадцать убитыхъ, отрытыхъ изъ подъ обвалившагося дома. А кто знаетъ, сколько времени онъ будетъ покоиться въ могилѣ, сколько человѣкъ уже ждетъ этого клочка земли?

Тихо родился, тихо жилъ, тихо умеръ и еще болѣе тихо похороненъ.

. . . .

Не то было на *томъ* свѣтѣ. *Тамъ* смерть Бонце произвела сильное впечатлѣніе!

Большая труба «мессіанскихъ временъ» оповѣстила всѣ семь небесныхъ сферъ: «Умеръ Бонце!»

Величайшіе архистратиги съ самыми широкими крыльями перелетали съ мѣста на мѣсто и сообщали другъ другу: «Бонце призванъ на засѣданіе небеснаго судилища!» А въ раю — радость, ликованіе, шумъ: «Бонце-молчальникъ! Шутка сказать — Бонце-молчальникъ»!..

Юные ангелочки съ брильянтовыми глазками, золотыми филиграновыми крылышками и въ серебряныхъ башмачкахъ въ восторгѣ полетѣли навстрѣчу Бонце. Шумъ крыльевъ, стукъ башмачковъ и веселый смѣхъ молодыхъ, свѣжихъ, розовыхъ губокъ наполнили небеса, донеслись до престола Предвѣчнаго, и самъ Предвѣчный уже зналъ, что это идетъ Бонце.

Праотецъ Авраамъ сталъ у вратъ небесныхъ, протянулъ руку, чтобы встрѣтить гостя радушнымъ «Миръ вамъ», и мягкая, свѣтлая улыбка разлилась по его старческому лицу.

Что за грохотъ идетъ по небу?

То два ангела катятъ въ рай золотое кресло на колесикахъ для Бонце.

Что это засверкало?

То пронесли золотой вѣнецъ, украшенный драгоцѣнными камнями тоже для Бонце.

— Какъ, еще до приговора небеснаго судилища? — изумленно и не безъ нѣкоторой зависти спрашиваютъ праведники.

— Вотъ еще, — отвѣчаютъ ангелы, — это вѣдь будетъ простой формальностью.

Противъ Бонце даже у небеснаго фискала языкъ

не повернется. «Дѣло» продолжится не болѣе пяти минутъ. Шутка сказать — Бонце-молчальникъ!..

*

Когда ангелочки подхватили Бонце въ воздухѣ и спѣли въ честь его пѣсню, а праотецъ Авраамъ потрясъ ему руку, какъ старому товарищу; когда онъ услышалъ, что для него въ раю уготовано кресло, что его тамъ ждетъ вѣнецъ, и что на судѣ о немъ дурного слова не скажутъ, Бонце, какъ и на этомъ свѣтѣ, *молчалъ*. Сердце у него сжалось отъ страха. Онъ былъ увѣренъ, что это сонъ или простое недоразумѣніе.

Онъ привыкъ къ этому. Не разъ ему при жизни снилось, что онъ собираетъ деньги съ поля, на которомъ разбросаны милліоны, а просыпался еще большимъ бѣднякомъ, чѣмъ легъ... Не разъ люди по ошибкѣ привѣтливо улыбались ему, говорили ему ласковое слово, а потомъ, плюнувъ, уходили.

— Такова ужъ моя судьба, — думаетъ онъ.

И онъ боится поднять глаза, чтобы не спугнуть сонъ, чтобы не проснуться гдѣ-нибудь въ пещерѣ между змѣями и скорпіонами. Онъ боится открыть ротъ, пошевелиться, чтобы его не узнали и не бросили въ преисподню.

Онъ дрожитъ и не слышитъ похвалъ, расточаемыхъ ему ангелами, не видитъ, какъ они весело кружатся вокругъ него; праотцу Аврааму, ведущему его на судъ, не отвѣчаетъ на его сердечное «Миръ вамъ», а представъ предъ судилищемъ — стоитъ безъ поклона и привѣтствія.

Совсѣмъ человѣкъ внѣ себя отъ испуга.

И страхъ его еще усилился, когда онъ нечаянно взглянулъ на полъ въ небесномъ судилищѣ. Настоящій алебастръ, выложенный брильянтами! «И я стою на этомъ полу!?» Онъ совсѣмъ теряетъ голову. «Кто знаетъ, за какого раввина, за какого богача или цадика меня принимаютъ... Придетъ тотъ — и тогда настанетъ мнѣ конецъ!»

Отъ страха онъ даже не разслышалъ, какъ первоприсутствующій отчетливо произнесъ: «Дѣло Бонце-молчальника!» и, подавая акты ангелу-заступнику, сказалъ:

— Читай, но покороче!

Всеобщее вниманіе сосредоточено на Бонце. У него звенитъ въ ушахъ, и среди этого звона все яснѣе слышится ему сладкій голосъ ангела-заступника, льющійся, какъ звуки скрипки.

Онъ слышитъ:

— Имя это шло къ нему, какъ платье, сшитое на стройную фигуру рукой искусснаго мастера...

— Что онъ такое говоритъ? — спрашиваетъ себя Бонце и вдругъ слышитъ нетерпѣливый голосъ:

— Только безъ сравненій!

И ангелъ-заступникъ продолжаетъ:

— Ни разу ни на кого не возропталъ онъ, ни на Бога, ни на людей. Ни разу въ его глазахъ не вспыхивалъ огонекъ ненависти, никогда взоръ его не обращался съ жалобой къ небу.

Бонце опять не понялъ ни слова, а жесткій голосъ снова прерываетъ рѣчь:

— Безъ риторики!

— Іовъ не выдержалъ и возропталъ, а вѣдь *онъ* былъ несчастнѣе...

— Фактовъ, однихъ сухихъ фактовъ! — еще нетерпѣливѣе кричитъ предсѣдатель.

— На восьмой день надъ нимъ совершили «обрядъ обрѣзанія»...

— Только безъ *реализма!*

— Операторъ-неучъ не остановилъ кровотеченія...

— Дальше!

— А онъ все молчалъ, — продолжаетъ защитникъ.— Молчалъ и тогда, когда въ тринадцать лѣтъ потерялъ мать и пріобрѣлъ мачеху... мачеху-змѣю злѣйшую...

— Такъ это же дѣйствительно говорятъ обо мнѣ?— думаетъ Бонце.

— Прошу — безъ инсинуацій по адресу третьихъ лицъ, — сердито говоритъ предсѣдатель.

— Она дрожала надъ каждымъ кускомъ... давала ему черствый заплѣсневѣлый хлѣбъ... мочалу вмѣсто мяса... а сама пила кофе со сливками.

— Къ дѣлу! — кричитъ предсѣдатель.

— Зато пинковъ она для него не жалѣла, а его покрытое синяками тѣло сквозило въ прорѣхахъ старой, сгнившей одежды... Зимою она въ самые сильные морозы заставляла его, босого, дрова рубить на дворѣ. Руки его были еще малы и слабы, полѣнья слишкомъ толсты, топоръ слишкомъ тупъ... Не разъ ему случалось вывихнуть себѣ руку, или отморозить ноги... но онъ все *молчалъ*, скрывая все даже отъ отца...

— Отъ отца-пьяницы! — вставляетъ со смѣхомъ фискалъ.

Бонце весь холодѣетъ.

— И не жаловался, — заканчиваетъ защитникъ.

— Всегда онъ былъ одинокъ, — продолжаетъ онъ, — не зналъ ни друга, ни талмудъ-торы, ни хедера... ни цѣлаго платья... ни свободной минуты.

— Фактовъ! — еще разъ восклицаетъ предсѣдатель.

Онъ молчалъ даже тогда, когда однажды пьяный отецъ схватилъ его за волосы и въ трескучій морозъ вышвырнулъ изъ дому. Онъ молча поднялся съ покрытой снѣгомъ земли и убѣжалъ, куда глаза глядятъ.

Въ дорогѣ онъ непрерывно молчалъ. Во время самаго лютаго голода просилъ одними глазами.

Туманной влажной весенней ночью попалъ онъ въ большой городъ... Онъ былъ тамъ каплей въ морѣ, но первую же ночь провелъ въ полицейскомъ участкѣ... Онъ молчалъ, не спрашивалъ — за что? По выходѣ оттуда сталъ искать самой трудной работы, — и все молчалъ.

Онъ молчалъ, хотя найти работу было еще труднѣе, чѣмъ выполнить ее.

Обливаясь холоднымъ потомъ, согнувшись подъ

самой тяжелой ношей, съ судорогами въ пустомъ желудкѣ — онъ молчалъ.

Онъ молчалъ, обрызганный чужою грязью, оплеванный незнакомымъ человѣкомъ, съ ношей на спинѣ прогоняемый съ тротуаровъ на мостовую къ лошадямъ, экипажамъ и трамваямъ, гдѣ ему поминутно угрожала смерть.

Онъ никогда не считалъ, сколько пудовъ онъ носитъ на себѣ за одинъ грошъ, сколько разъ онъ падалъ, зарабатывая копейку, сколько разъ онъ умиралъ съ голоду въ ожиданіи уплаты. Онъ не проводилъ сравненія между *своей* и *чужой* долей — онъ все молчалъ.

Даже денегъ, заработанныхъ собственнымъ трудомъ, онъ никогда не требовалъ громко. Какъ нищій, становился онъ у дверей, и въ глазахъ его свѣтилась мольба голодной собаки. «Приходи потомъ,» — и онъ исчезалъ тихо, какъ тѣнь, чтобы потомъ еще тише молить объ уплатѣ.

Молчалъ онъ и тогда, когда урывали, сколько хотѣли, отъ его заработка или при уплатѣ сбывали ему фальшивую монету. Онъ все молчалъ.

— Такъ это же дѣйствительно говорятъ обо мнѣ! — успокаиваетъ себя Бонце.

*

Глотнувъ воды, защитникъ продолжаетъ:

— Однажды въ его жизни произошла перемѣна. По улицѣ мчалась коляска на резиновыхъ шинахъ; лошади понесли... Кучеръ уже давно лежалъ на мостовой съ раздробленнымъ черепомъ... Съ губъ испуганныхъ лошадей брызгала пѣна, изъ-подъ подковъ сыпались искры, глаза сверкали, какъ пылающіе факелы въ темную ночь — а въ коляскѣ, ни живъ ни мертвъ, сидѣлъ человѣкъ. И Бонце задержалъ лошадей.

Спасенный оказался щедрымъ человѣкомъ и не забылъ благодѣянія Бонце.

Онъ передалъ ему кнутъ убитаго кучера, и Бонце сталъ кучеромъ. Больше того — онъ женилъ его. Еще больше — онъ же его и ребенкомъ наградилъ.

А Бонце все молчалъ.

— Обо мнѣ говорятъ, обо мнѣ, — окончательно убѣждается Бонце, но все же не осмѣливается взглянуть на судей.

И онъ продолжаетъ слушать рѣчь защитника:

— Онъ молчалъ и тогда, когда его благодѣтель обанкротился и не уплатилъ ему жалованья.

Молчалъ тогда, когда жена ушла отъ него, бросивъ грудного ребенка...

Молчалъ и пятнадцать лѣтъ спустя, когда ребенокъ выросъ и достаточно окрѣпъ, чтобы выгнать его, Бонце, изъ дому.

— Обо мнѣ говорятъ, обо мнѣ! — радуется Бонце.

*

— Онъ и тогда молчалъ, — продолжаетъ кроткимъ, печальнымъ голосомъ защитникъ, — когда его благодѣтель уплатилъ всѣмъ, а ему не далъ ни гроша, и даже тогда, когда этотъ самый благодѣтель, снова разъѣзжая въ экипажѣ на резиновыхъ шинахъ, запряженномъ кровными рысаками, переѣхалъ, раздавилъ его...

Онъ молчалъ. Онъ даже не назвалъ полиціи имени того, кто его искалѣчилъ.

Онъ молчалъ и въ больницѣ, гдѣ *кричать* разрѣшается.

Молчалъ, когда докторъ безъ пятиалтыннаго не соглашался подойти къ нему, а сторожъ безъ пятака — перемѣнить на немъ бѣлье.

Онъ молчалъ во время агоніи; онъ умиралъ молча.

Ни слова протеста противъ Бога, ни слова — противъ людей.

Я кончилъ.

*

Бонце снова дрожитъ, какъ въ лихорадкѣ. Онъ знаетъ, что послѣ защитника говоритъ обвинитель. Кто можетъ знать, что *онъ* скажетъ! Бонце самъ не помнилъ всѣхъ событій въ своей жизни, — еще на томъ свѣтѣ, онъ сейчасъ же забывалъ все, что съ нимъ случалось. Вспомнилъ вѣдь защитникъ все, а кто знаетъ, что можетъ вспомнить обвинитель!

— Господа, — начинаетъ обвинитель сухимъ, язвительнымъ голосомъ — и обрываетъ.

— Господа, — начинаетъ онъ опять, но ужъ болѣе мягкимъ голосомъ — и снова останавливается.

Наконецъ онъ говоритъ совсѣмъ мягкимъ, идущимъ отъ сердца голосомъ.

— Господа! *Онъ* молчалъ, буду молчать и я!

И вдругъ среди наступившей тишины раздается новый голосъ, мягкій и дрожащій:

— Бонце, сынъ мой Бонце, — звенитъ онъ, какъ арфа...

— Дорогое дитя мое!

Къ сердцу Бонце подступаютъ рыданія. Теперь онъ бы уже хотѣлъ раскрыть глаза, но слезы мѣшаютъ ему.

Никогда еще онъ не испытывалъ такого нѣжнаго и грустнаго чувства... «Сынъ мой», «Бонце мой»... Онъ не слыхалъ этихъ словъ съ тѣхъ поръ, какъ умерла его мать.

— Сынъ мой, — продолжаетъ Верховный Судія — ты все время терпѣлъ и молчалъ. На твоемъ тѣлѣ нѣтъ живого мѣста, вездѣ раны, вездѣ кровь, — въ душѣ нѣтъ уголка, гдѣ не сочилась бы кровь... а ты молчалъ.

Тамъ этого не понимали. Ты и самъ, быть можетъ, не зналъ, что можешь кричать, и что отъ твоего крика стѣны Іерихона могутъ поколебаться и обрушиться! Ты самъ не зналъ дремавшей въ тебѣ силы.

На томъ свѣтѣ тебя не вознаградили за молчаніе.

На то и земной міръ, лживый и неправедный. Здѣсь же, въ царствѣ справедливости, тебѣ воздадутъ должное.

Судьи не будутъ судить тебя, не изрекутъ тебѣ опредѣленной награды. Возьми самъ, чего хочешь. Тебѣ принадлежитъ все!

Бонце впервые поднимаетъ глаза. Онъ пораженъ ослѣпительнымъ блескомъ, разлитымъ кругомъ. Тутъ все горитъ, сверкаетъ, отовсюду бьютъ потоки свѣта, отъ стѣнъ, отъ предметовъ, отъ ангеловъ, отъ судей...

И онъ опускаетъ усталые глаза долу.

— Это... серьезно? — спрашиваетъ онъ растерянно.

— Разумѣется! — убѣждаетъ его Верховный Судія. — Повторяю: все — твое, все принадлежитъ тебѣ! Выбирай все, что пожелаешь, ибо все, что тутъ блеститъ и сверкаетъ, есть только отраженіе твоихъ скрытыхъ добродѣтелей, отраженіе твоей души. Ты берешь у самого себя!

— Дѣйствительно? — спрашиваетъ Бонце уже болѣе твердымъ голосомъ.

— Разумѣется! Разумѣется! — отвѣчаютъ ему со всѣхъ сторонъ.

— Ну, если такъ, — улыбаясь заявляетъ Бонце, — такъ я хочу имѣть ежедневно утромъ горячую булку со свѣжимъ масломъ!

Судьи и ангелы въ смущеніи опустили глаза. Фискалъ расхохотался.

Тяжба

Возникъ споръ между возницей Ханинэ и его клячей. Она твердила: «Дай овса, и я повезу», а онъ: «Вези — дамъ овса». Тутъ въ дѣло вмѣшался кнутъ, — разъ, другой, пока кляча не умолкла и не протянула ноги.

Ханинэ еле дотащилъ свою повозку до дому, запродалъ шкуру живодеру и сталъ подыскивать новую лошадь.

Ему и горя мало. Онъ уже привыкъ къ такимъ злоключеніямъ, ибо покупалъ только такихъ лошадей, съ которыми имѣлъ вѣчныя пререканія, и постоянно долженъ былъ обращаться сперва къ кнуту, какъ третейскому судьѣ, а потомъ, по обыкновенію, къ живодеру.

Но всему бываетъ конецъ. Едва Ханинэ отпустилъ живодера, какъ глаза его закатились, голова запрокинулась, изо рта показалась пѣна, — съ нимъ случился ударъ.

Жена и дѣти стараются спасти его, но онъ машетъ рукой, — чувствуетъ, что наступилъ его конецъ.

Передъ кончиной Ханинэ пришелъ въ себя и объявилъ имъ, что кляча «зоветъ» его.

*

Особеннаго страха онъ не чувствуетъ.

Ханинэ привыкъ къ тяжбамъ.

Проѣзжая мимо стога сѣна или по овсяному полю, онъ постоянно притворялся спящимъ, чтобъ не мѣшать голодной лошади свернуть съ дороги и подкор-

миться чужимъ добромъ. Дремота во время потравы не разъ доводила его до суда, но онъ всегда какъ-нибудь да изворачивался.

Его побочнымъ заработкомъ было маклерство у адвокатовъ. Немножко онъ вывѣдалъ у нихъ, кое-что стороной узналъ — и понялъ онъ, что вся исторія выѣденнаго яйца не стоитъ.

Пока судъ да дѣло — онъ набиралъ пассажировъ.

Когда суду надоѣла въ концѣ-концовъ эта вѣчная исторія съ засыпаніемъ Ханинэ, а истецъ требовалъ убытковъ цѣлый капиталъ, ему пришлось порядкомъ-таки «посидѣть», но зато онъ отдохнулъ на славу, и сынъ его *долженъ* былъ пріучиться къ его ремеслу. Жалко, положимъ, было оторвать его отъ хедера, но, какъ бы то ни было, съ тяжбами Ханинэ свыкся, и нисколько уже не боялся ихъ. Съ женой онъ и совѣтоваться не желаетъ, ибо что можетъ понимать женщина? Но кладбищенскому носильщику онъ заявляетъ: «Я боюсь клячи, какъ прошлогодняго снѣга! Я заявлю отводъ не хуже пьянчужки-адвоката. Жаль только, что не могу взять съ собою на тотъ свѣтъ пассажировъ. Дайте мнѣ хоть кнутъ», просить онъ: «безъ кнута я совсѣмъ, какъ безъ руки».

*

Въ высшемъ Судилищѣ. Нашъ Ханинэ, не долго раздумывая, заявляетъ отводъ:

— Для клячи, — говоритъ онъ, — достаточно и гминнаго суда.

— Вотъ видишь, Ханинэ, — говоритъ предсѣдатель, — если бы ты спалъ поменьше по субботамъ и лучше бы слушалъ чтеніе священнаго писанія въ молельнѣ, то зналъ бы, что и претензія животнаго подлежитъ суду синедріона.

— Э! — прерываетъ Ханинэ, — въ молельнѣ читали не библію, а «Алшихъ»!* Я пришелъ не затѣмъ,

---

* Изъ раввинской литературы.

чтобъ выслушивать нравоученія. Отводъ, признаюсь, я сдѣлалъ только эффекта ради и отказываюсь отъ него.

Слово предоставляется клячѣ.

Раздается горестное рыданіе:

— Онъ убилъ меня! Своимъ кнутомъ онъ выколотилъ изъ меня послѣднія силы.

Но Ханинэ не даетъ ей говорить.

— Кляча, — кричитъ онъ, — вѣдь мнѣ принадлежитъ. Я вырвалъ ее изъ рукъ живодера, еще живую хотѣли ее отправить на живодерню. Два рубля давали, а я десять заплатилъ... А покупалъ я ее тоже для ея же пользы: у меня ей все-таки сѣнцо перепадало.

— Но силы, гдѣ взять силы? — заливается кляча.

— Не понимаю! — сердится Ханинэ, — у кого же это есть силы? У меня? Моя обязанность держать вожжи. А безъ кнута развѣ ты двинулась бы съ мѣста? И шагу не сдѣлала бы! Какой это возница безъ кнута!..

*

Верховный судъ, послѣ краткаго совѣщанія, выноситъ слѣдующую резолюцію:

— Такъ какъ судъ не можетъ измѣнить исконныхъ порядковъ, а споконъ вѣка лошадь ни шагу не дѣлаетъ безъ возницы, то поневолѣ нуженъ «кнутъ»; но, съ другой стороны — пока лошадь остается лошадью, надо имѣть къ ней больше состраданія и вообще нужно, чтобы было побольше взаимнаго сочувствія между сторонами.

Посему:

Души обоихъ да возвратятся снова на землю.

Ханинэ пусть воплотится въ клячѣ, а кляча пусть сдѣлается возницей.

Со временемъ они, такимъ образомъ, получатъ поровну, — а времени и терпѣнія у Верховнаго Судилища достаточно.

Хламъ

(Отрывокъ)

Это было въ Варшавѣ. Я стоялъ у мутной Вислы, на берегахъ которой вырастаютъ горы мусора, извергаемыя культурнымъ городомъ. Тамъ изможденныя старухи собираютъ всякій хламъ: куски желѣза, мѣди, несгорѣвшаго окончательно угля, выбрасываемаго изъ фабрикъ вмѣстѣ съ золой, и просто всякое тряпье.

Солнце заходило. Темносѣрый берегъ, грязно желтая рѣка и багровое, заплаканное небо слились въ причудливую картину, на фонѣ которой двигались сгорбленныя, костлявыя женщины-привидѣнія, роясь въ мусорѣ желѣзными крючками, а иныя и голыми руками.

Передъ каждымъ такимъ привидѣніемъ лежалъ мѣшокъ, поглощавшій собираемый хламъ.

Наступаетъ ночь. Привидѣнія одно за другимъ взваливаютъ себѣ на спину мѣшки и направляются въ освѣщенный городъ. Остается одна старуха — самая уродливая, самая ужасная...

Выплываетъ желтоватая луна. Зажигаются два ряда дрожащихъ огней, отражающихся въ Вислѣ, — женщина все еще стоитъ и безъ устали роется въ мусорѣ.

Тогда только я замѣчаю, что она собираетъ не такъ, какъ остальныя. Она кладетъ въ мѣшокъ не все, что попадается ей подъ руку: оставляя кусочки металла и угля, она беретъ однѣ тряпки, однѣ цвѣтныя тряпки.

Подойдя ближе, я спрашиваю:

— Старуха, для чего тебѣ пестрыя тряпки?

— Если сподобишься — увидишь, — отвѣчаетъ она страннымъ, рѣзкимъ голосомъ, и въ старыхъ, ввалившихся глазахъ вспыхиваетъ искра злобы и насмѣшки.

Она кончила, завязала мѣшокъ, взвалила его себѣ на спину.

— Куда идешь ты, старуха?

— Сподобишься — увидишь, — снова отвѣчаетъ она.

Я иду за ней.

Зачѣмъ? Просто потому, что мнѣ все равно, куда идти.

Я иду за ней, и вдругъ все кругомъ мѣняется... Уже нѣтъ ни Варшавы, ни Вислы... Кругомъ песокъ, безцвѣтный песокъ, пустыня... А надъ этой пустыней разстилается пустое небо, небо безъ луны, безъ звѣздъ... Впереди меня мелкими шагами идетъ старуха-привидѣніе съ грязнымъ мѣшкомъ на спинѣ... Тихо. Я не слышу даже собственныхъ шаговъ по глубокому песку... Временами мнѣ кажется, что привидѣніе смотритъ на меня и тихо смѣется, шевеля своими засохшими губами, своимъ беззубымъ ртомъ...

Я иду за ней, иду, а на душѣ у меня скверно. Мнѣ кажется, что не самъ я иду, что она тащитъ меня! Тащитъ, хотя я и не вижу веревки...

Вдругъ старая колдунья исчезаетъ, какъ будто проваливается сквозь землю... Что это значитъ? Я дѣлаю нѣсколько шаговъ и замѣчаю пещеру, въ которую она спустилась. Дѣлать нечего. Въ эту сѣрую, пустынную ночь я не хочу оставаться одинъ и быстро проникаю въ пещеру. Тамъ темно, а въ этой темнотѣ ужасно свѣтится лицо старухи. Желтый свѣтъ испускаетъ оно, и въ этомъ свѣтящемся желтомъ пятнѣ вспыхиваютъ лучи, при блескѣ которыхъ я вижу, что старуха перемываетъ собранные лоскутки въ двухъ ведрахъ. Вглядываюсь пристально и замѣчаю, что одно ведро наполнено красною, а другое прозрачною, безцвѣтною жидкостью.

— Зачѣмъ ты перемываешь тряпки?

— Сподобишься — увидишь, — отвѣчаетъ старуха.

— Что у тебя въ ведрѣ? — спрашиваю я, указывая на ведро съ прозрачной жидкостью.

— Слезы. Слезы тебѣ подобныхъ, слезы людскія.

И продолжаетъ нараспѣвъ:

— Слезы оброненныя, слезы пролитыя, слезы проглоченныя, слезы затаенныя, задушенныя...

— *Всѣ* слезы?

— О, нѣтъ, всѣ образовали бы цѣлыя моря. Тутъ однѣ чистыя, однѣ только чистыя слезы... Слезы бѣдняковъ, слезы о гонимой въ мірѣ святынѣ, слезы о тѣхъ, кто еще при жизни застылъ, окаменѣлъ...

— А во второмъ ведрѣ?

— Кровь, чистая человѣческая кровь... Кровь преждевременно погибшихъ, невинныхъ жертвъ... Кровь, которую земля еще не принимаетъ, ибо еще не можетъ оплодотвориться ею. Кровь чистая, кровь молодая, кровь святая...

— И въ этомъ ты моешь...

— Мою, какъ видишь, тряпки!

И снова все мѣняется предо мною... Тряпки, перемытыя въ слезахъ и крови, съ минуты на минуту становятся все чище, ярче, свѣтлѣе... Свѣтлѣетъ въ пещерѣ... Свѣтлымъ и молодымъ дѣлается лицо старухи... Оно уже не такое остро-костлявое, какъ прежде... Исчезаетъ краснота вокругъ глазъ. Все лицо ея озаряется добродушной улыбкой, а глаза, старческіе глаза начинаютъ свѣтиться мягкимъ, теплымъ огонькомъ... Чѣмъ чище становятся тряпки, тѣмъ свѣтлѣе дѣлается въ пещерѣ, и свѣтлѣе лицо старухи, и лучистѣе глаза ея! И вся молодѣетъ она. Съ молодого, стройнаго тѣла спадаютъ жалкіе лохмотья... и красота, дивная, божественная красота, обнаженная является предо мною...

— Боже! — вырывается у меня крикъ... — Кто ты?

— Сподобишься — узнаешь!

Работа окончена... Старыя тряпки чисты, сіяютъ,

свѣтятся, переливаются тысячами красокъ... А прежняя колдунья помолодѣла, расцвѣла, какъ будто еще только выходитъ навстрѣчу молодой, сочной жизни. И эта неземная красавица беретъ пестрые лоскутья и при помощи небольшихъ палочекъ дѣлаетъ изъ нихъ маленькіе, хорошенькіе флаги... Десять, двадцать, сорокъ такихъ флаговъ... Она продолжаетъ работу. Вотъ у нея въ рукахъ уже множество этихъ флаговъ, и она оставляетъ пещеру. Я иду за ней... Но теперь я уже не подобенъ агнцу, котораго ведутъ на закланіе, мнѣ уже не кажется, что меня тащатъ на веревкѣ... Я иду, какъ шли по пустынѣ, за огненнымъ столпомъ, какъ идутъ за золотой звѣздой, за свѣтлымъ призракомъ счастья...

Опять новая картина.

Свѣтлѣетъ песчаная степь. Только темныя тѣни падаютъ на песокъ, и, извиваясь, сплетаются въ странные, уродливые образы.

Синее звѣздное небо. Высоко въ воздухѣ, между небомъ и землей, дрожатъ и пляшутъ милліарды тонкихъ бѣлоснѣжныхъ лепестковъ.

Остановилась красавица и глядитъ на небо. Въ рукахъ у нея тысячи крошечныхъ знаменъ.

— Что тамъ наверху, между небомъ и землей? — спрашиваю я.

— Души, — отвѣчаетъ, — она.

— Почему же онѣ не летятъ въ небо?

— Господь послалъ ихъ на землю.

— Почему онѣ не слетаютъ внизъ?

— Не хотятъ онѣ внизъ. Ихъ пугаютъ тѣни, которыя извиваются по песку и поджидаютъ ихъ...

— Для чего?

— Чтобы слиться съ ними.

Душа — чистый небесный лучъ, и только изъ слiянія его съ такой тѣнью рождается человѣкъ.

— И онѣ не сойдутъ на землю?

— Онѣ *должны* сойти!

Лучъ непреклонной воли сверкнулъ въ ея глазахъ.

При послѣднихъ словахъ она бросаетъ вверхъ одинъ изъ флаговъ... Онъ летитъ все выше... Вотъ одна душа подхватила его и стрѣлой падаетъ съ нимъ на землю... Она бросаетъ еще флагъ, еще одинъ, и каждый подхватывается порхающей душой. И чѣмъ больше флаговъ летитъ вверхъ, тѣмъ больше душъ слетаетъ на землю.

И вслѣдъ за каждой душой, слетающей съ флагомъ, спускаются еще десятки и сотни маленькихъ душъ...

И каждую спустившуюся душу втягиваетъ въ себя одна изъ тѣней.

И все меньше лепестковъ на небѣ, все меньше тѣней на землѣ... Души съ флагами и души, витающія вокругъ нихъ, поглощаются тѣнями земли и отдѣльными группами разлетаются во всѣ стороны.

Она же стоитъ съ пустыми руками подъ яснымъ звѣзднымъ небомъ, посреди желтой песчаной степи.

Тонкая усмѣшка появляется на ея устахъ, разливается по лицу. Въ глазахъ зажигается злоба.

— Кто ты? — спрашиваю я въ страхѣ.

— Я — жизнь!

— Что ты тутъ дѣлаешь?

— Я веду свою обычную шутовскую игру, — рѣзко отвѣчаетъ она и исчезаетъ въ пространствѣ.

Съ высоты слышится ея голосъ:

— Увидимся вечеромъ — на свалкѣ!.. До свиданія!

. . . .

Деревья

По обѣимъ сторонамъ широкой аллеи стоятъ другъ противъ друга два дерева. Идетъ весна и несетъ съ собой новую жизнь, новыя пѣсни, цвѣты и росы... Идетъ весна, и печально согнувшіяся деревья распрямляются. Съ каждымъ днемъ все теплѣе и теплѣе. Разносящій благоуханіе вѣтерокъ становится нѣжнѣе, веселѣе и радостнѣе, солнце — мягче и расточительнѣе. Цѣлые снопы свѣта носятся въ воздухѣ, вѣтки зеленѣютъ, разростаются во всѣ стороны и покрываются цвѣтами и листьями.

И пышныя, счастливыя деревья склоняются другъ къ дружкѣ. Переплетаются ихъ вѣтви, обнимаются листья, цѣлуются цвѣты. По стволамъ поднимаются соки до самой вершины жизни и любви, которая объединяетъ ихъ въ эти минуты.

Счастливыя деревья! Счастливая любовь! Синее небо — ихъ вѣнчальный балдахинъ, крылатые пѣвчіе убаюкиваютъ ихъ своими сладкими трелями. Имъ снится вѣчное счастье, и они забываются въ объятьяхъ другъ у друга.

Повѣяло холодомъ... Спадаютъ цвѣты, и голые листья испуганно прижимаются другъ къ дружкѣ... Вѣтеръ становится все рѣзче и холоднѣе, птицы съ печальнымъ привѣтомъ улетаютъ...

Безъ тепла и свѣта онѣ не могутъ пѣть и жить. Остаются только больныя и ждутъ, пока не засыплетъ ихъ снѣгомъ...

Небо покрывается сѣрыми тучами. Начинаютъ

спадать и листья. Голыя опечаленныя вѣтви просыпаются отъ сладкихъ грезъ, исчезаютъ очаровательные сны... Листья съеживаются, становятся все короче и короче...

Выпадаетъ первый холодный снѣгъ. Деревья отодвинулись одно отъ другого... Они уже забыли другъ о другѣ... Вотъ стоятъ они чужія, холодныя и сердито переглядываются. А внизу ведется безпощадная война между корнями изъ-за капли соковъ.

Наступитъ ли снова лѣто?

— Я не доживу до него, — стонетъ въ снѣгу въ предсмертной агоніи забытая ласточка.

— Кра-кра-кра! — радостно каркаетъ черная воровка-ворона. — Никогда уже не будетъ лѣта, — и спускается хищная на скованную морозомъ землю...

— Фюи! Конецъ лѣту! — свиститъ холодный вѣтеръ!..

Любовь

Румяныя щечки, ясные глазки, сладкіе, тихіе сны, — гдѣ вы?

Тихая голубка тихо жила въ тихой голубятнѣ.

Богобоязненная, тихая голубка.

Мило щебетала она молитву по утрамъ:

«Что папа велитъ, что мама велитъ, и что всѣ добрые, богобоязненные люди»...

И молитву на сонъ грядущій по вечерамъ:

«Возьми, Боже милый, мою нѣжную душу къ Себѣ до утра...

«Пріюти ее на ночь подъ крыломъ Твоей милости, верни мнѣ ее къ утру съ добрымъ ангеломъ, и я скажу папѣ «добраго утра!» и мамѣ поцѣлую руку»...

Молнія ударила въ тихое сердце голубки, и оно воспламенилось...

И страстное желаніе загорѣлось въ тихой голубкѣ.

По голубому воздушному морю пусть на мощныхъ крыльяхъ орелъ приплыветъ — она встрѣтитъ его съ радостью!

Своими орлиными когтями пусть растерзаетъ онъ молодое сердце ея, орлинымъ клювомъ пусть высосетъ ея горячую, молодую кровь — пусть утолитъ свою жажду.

А то, что останется, пусть броситъ, куда пожелаетъ...

*

Отецъ спрашиваетъ озабоченно:

— Что ты, дочь моя, такъ блѣдна?

Съ безпокойствомъ заглядываетъ онъ глубоко въ глаза мои:

— Что горятъ они такъ дико?

Мать пристаетъ ко мнѣ:

— Дочь моя, ты ночью плакала во снѣ? Мокра была къ утру подушка твоя — какіе видѣла ты сны?

А изъ дому выбѣгу, — меня подруги встрѣчаютъ, окружаютъ, прыгаютъ вокругъ меня, пробуравливаютъ своими взглядами:

— Что случилось съ тобой, Голделе? Почему такъ жжетъ твое дыханіе?

Легче скрыть запахъ духовъ, чѣмъ расцвѣтшее сердце въ груди.

*

Если когда-нибудь у меня будетъ кроткая, милая дочка, какъ у моей мамы, единственная, я буду сажать ее иногда къ себѣ на колѣни и, тихо гладя ея золотые локоны и глубоко заглядывая въ ея голубые глаза, буду нашептывать ей добрыя слова, сердечныя назидательныя рѣчи:

— Хочешь, дочь моя, итти гулять, и есть у тебя съ кѣмъ — иди!

Но иди днемъ, въ прекрасный яркій полдень, когда сіяетъ солнце!..

Пусть осыпетъ оно головку твою яркимъ золотомъ; тебѣ нечего стыдиться, бояться его: солнце — вѣрно и чисто!

Но берегись, дочь моя, чаръ тихихъ лѣтнихъ ночей... тонкой дрожаще-свѣтлой, серебряной сѣти, что протягивается въ воздухѣ тихомъ!..

И чародѣйка тогда луна, — опасны ея матово-серебряные лучи... Сладокъ свѣтъ ея, и пьется онъ, какъ прохладное душистое вино, и опьяняетъ...

Вдругъ свѣжія розы расцвѣтаютъ въ груди твоей, и дыханіе твое становится душистымъ.

Вдругъ хаосъ свѣтлыхъ звѣздъ начинаетъ плясать въ мозгу твоемъ и лучиться изъ глазъ твоихъ...

И голова тяжелѣетъ и ищетъ плеча для опоры, и уста съ устами встрѣчаются — не оторвать!

*

Я должна быть на сторожѣ передъ самой собою, стеречь себя каждую минуту, каждую секунду.

Я должна удерживать ноги, — имъ хочется бѣжать въ далекій міръ.

Я должна крѣпко держать свои руки вдоль платья, — имъ хочется хватать звѣзды съ неба и бросать ихъ въ міръ.

И губы свои я должна до крови закусить, — имъ хочется возвѣстить міру великую вѣсть.

И я должна смотрѣть за занавѣсками на глубоко-голубыхъ окошечкахъ моихъ, — въ нихъ зарницы вспыхиваютъ... Вѣчный праздникъ въ сердцѣ моемъ!

*

Мама, когда ты была невѣстой папы, что говорилъ онъ тебѣ съ глазу на глазъ, гуляя съ тобой?

Прекрасна ты, мама, я знаю, была, царицей выглядишь ты теперь, а вѣдь царевна таитъ въ себѣ еще больше чаръ!

Золотомъ сверкаетъ день твоего лѣта; какъ же цвѣло утро твоей весны?!

Я вижу вѣдь, какъ онъ глядитъ на тебя еще теперь, думая, что я ничего не замѣчаю.

Но тогда, тогда что говорилъ онъ тебѣ?

Что говорилъ онъ тебѣ въ сладкія тихія лѣтнія ночи, когда луна чаруетъ, и серебряно-свѣтлая сѣть дрожитъ въ глубокой голубой тиши?

Не говорилъ ли онъ тебѣ, что не луна и звѣзды свѣтятъ ему на пути его, а твои глубоко-голубые глаза?

Когда надъ дрожащей серебряной сѣтью проно-

сился запахъ цвѣтовъ, не говорилъ ли онъ тебѣ, что то пахнутъ не розы и лиліи, а чистая душа твоя?

А по вечерамъ, когда сладкая, тихая молитва гнѣздъ разливается въ гущахъ замечтавшихся деревьевъ, не шепталъ ли онъ тебѣ, что слаще, святѣе и чище звучитъ единое слово твое?

*

Съ горячими устами я легла, и проснулась въ холодномъ поту:

Межъ разорванныхъ клочьевъ тучъ, надъ голыми скалами и бушующими морями носилъ меня орелъ средь бурь и вѣтровъ.

Сама безкрылая, я соскользнула съ крыльевъ его.

Я падаю... Все ниже и ниже несетъ меня вѣтеръ и бросаетъ и кидаетъ, пока не повисаю я, какъ Авессаломъ, волосами на вѣтви древесной, что надъ водою виситъ.

Вверху, межъ разорванныхъ тучъ, парятъ орлы.

— Спасите, вашъ товарищъ потерялъ меня!

Не слышатъ они и продолжаютъ свой путь.

А внизу течетъ полувысохшая рѣчка. Время отъ времени выплываетъ блѣдная рыба съ круглыми голодными глазами и раскрываетъ пасть:

— Когда спадетъ она!

*

Я лежу съ открытыми глазами и жду перваго луча новой зари. Я тоскую по немъ — онъ прогонитъ тѣни съ сердца моего.

Смотрю въ окно и жду знака отъ нарождающагося солнца — предъ нимъ убѣгутъ мои страшные сны.

Первый поцѣлуй, который тихое небо дастъ землѣ, окутанной туманомъ и ужасомъ, освободитъ мою душу отъ страха.

Изъ сѣмянъ, что Божья рука раскидаетъ по усталой землѣ, расцвѣтетъ для нея новый день, а для меня — новая жизнь.

Воздухъ дрожитъ, сейчасъ пронесется вѣсть:

— Не страшись, обездоленная земля! Освободитель твой, твой женихъ, грядетъ къ тебѣ изъ-подъ вѣнца; глаза его испускаютъ лучи и гонятъ предъ собой злыхъ духовъ ночи, — и ужасы исчезнутъ всѣ!

И въ жаждѣ дня, лежу я тихо и плачу.

*

Тихо плакала я, и лишь ухо матери услыхало вздохи мои, — я слышу шаги обнаженныхъ ногъ ея.

Занавѣски отгибаются. Вотъ стоитъ она, образъ милости и состраданія, и своимъ сердечнымъ взглядомъ обнимаетъ свое до смерти перепуганное дитя.

Тихими шагами босыхъ ногъ своихъ подходитъ она къ кровати моей, садится возлѣ меня, кладетъ свою руку подъ шею мою и притягиваетъ мою горячую голову къ себѣ на колѣни.

— Стоитъ ли онъ этого, дочь моя?.. Кто онъ?

*

Онъ — герой, у него голосъ покорителя міра. И онъ говоритъ, что это я его голосъ налила мощью и сочностью, какъ благословенное солнце наливаетъ кисть виноградную... я — своими трепетными устами...

Міры можетъ онъ кидать въ воздухъ, — а силу, говоритъ онъ, дала ему я — я, которая такъ слаба, такъ слаба.

У него, повѣдалъ онъ мнѣ, были уже потухшіе глаза; а я вновь зажгла въ нихъ огонь, — и они свѣтятъ, какъ звѣзды на небѣ. А вѣдь я, мама, часто не вижу своего собственнаго пути.

И пустыней было ужъ сердце его. Я посадила въ немъ новые цвѣты, и дыханіе его пахнетъ розами съ горнихъ вершинъ. А я, мама, вяну отъ тоски, какъ послѣдняя былинка въ долинѣ.

Я ему вновь открыла глаза, и онъ видитъ жемчужины, что еще скрыто лежатъ на днѣ глубочайшихъ морей.

И онъ чуетъ цвѣты, которыхъ ни одинъ ангелъ не будилъ еще отъ глубочайшаго сна въ скрытомъ лонѣ земли.

И онъ внемлетъ пѣснь, пѣснь грядущихъ вѣковъ, аллилуіію временъ, что плывутъ еще въ туманѣ безформенномъ подъ Престоломъ Всевышняго, на что Богъ-Зиждитель и взора еще не кинулъ.

— Можешь ты понять это, мама?!

*

Нѣтъ...

И все-жъ она кладетъ свою бѣлую руку на растрепанную головку мою, благословляетъ меня!

Изъ сердечныхъ материнскихъ глазъ слезы падаютъ на горящее жаждой лицо мое и освѣжаютъ его, какъ роса.

И ея вѣрныя уста шепчутъ — желаютъ мнѣ счастья.

Мама, меня не ждетъ тихое милое гнѣздо, устланное листьями и пухомъ и блестящими камешками!

Онъ не вылетитъ съ пѣснью и молитвеннымъ восторгомъ изъ гнѣзда своего — искать свѣжихъ букашекъ для милой своей, что сидитъ, осѣняя и грѣя горячо любимыхъ птенцовъ его.

Женой орла буду я!..

Онъ вырветъ меня изъ объятій твоихъ и унесетъ далеко-далеко, въ бурю и вѣтеръ, надъ бурлящими морями, надъ дико обнаженными скалами, надъ тучами, что объ острія ихъ рвутся на клочья...

А потеряетъ онъ меня, мама, — я на колѣни твои ужъ не упаду назадъ!

*

— Мама!

— Что, дочь моя?

— Онъ не изъ тѣхъ, что долго живутъ; онъ изъ тѣхъ, что являются и исчезаютъ, какъ молнія...

Онъ не изъ тѣхъ, что сѣдѣютъ послѣ долгихъ-долгихъ лѣтъ; въ одну ночь онъ сѣдѣетъ, какъ голубь.

Онъ не изъ тѣхъ, что пьютъ кубокъ жизни каплю за каплей, что мѣрятъ жизнь звономъ городскихъ часовъ — тикъ-такъ, тикъ-такъ, шагъ за шагомъ.

Онъ не изъ тѣхъ, что старѣютъ, а, одряхлѣвъ и слабыми глазами видя, что имъ навстрѣчу Черный Ангелъ идетъ, исполняются жалости къ самимъ себѣ, къ своей семьѣ и близкимъ, идутъ домой завѣщанія писать, покорно ложатся на одръ и, прочитавъ предсмертную молитву, поворачиваются лицомъ къ стѣнѣ.

Онъ изъ тѣхъ, что падаютъ вдругъ, разомъ, — какъ падаетъ съ неба звѣзда; онъ изъ тѣхъ, которыхъ подстрѣливаютъ, какъ дикихъ птицъ въ лѣсу.

— Ты въ бреду говоришь, дочь моя!

— Въ бреду, мама!

*

Возьми же меня съ собой, орелъ!

Вырви меня изъ рукъ отца, съ колѣнъ матери!

Я иду съ тобой.

Я иду съ тобой въ бурю и вихрь, черезъ могилы и надгробные памятники, межъ раненыхъ, что обливаются кровью на полѣ брани.

И стоны ихъ не остановятъ меня. Я не остановлюсь, чтобы подать жаждущему даже каплю воды.

Я не буду бояться громовъ, раздирающихъ сердце въ темныя ночи: открытыми, стальными глазами, такъ, что волосъ на рѣсницахъ моихъ не дрогнетъ, я буду молніи смотрѣть въ упоръ.

Я — жена орла!

Картинки

КТО?

I

Изъ всѣхъ статуй въ саду Венера самая красивая.

Изваянная изъ бѣлаго мрамора, прекрасная богиня стоитъ на зеленоватомъ пьедесталѣ и широко открытыми глазами смотритъ на террасу, обсыпанную розами и лиліями.

Въ аллеѣ появляется девятнадцатилѣтняя дѣвушка. Лицо ея сіяетъ радостью, глаза лучатся свѣжей, здоровой жизнью. Она подходитъ къ Венерѣ.

Смѣло вскакиваетъ на пьедесталъ — она одного роста съ богиней.

Она въ восторгѣ. Алебастровой рукой обнимаетъ она мраморную шею богини, прижимаетъ свои свѣжія коралловыя уста къ ея устамъ.

Мгновенье она стоитъ такъ неподвижно.

И каждый проходящій мимо спрашиваетъ себя:

— Кто красивѣе? та, что изъ камня, или та, — что изъ плоти?

II

За толстымъ зеркальнымъ стекломъ въ витринѣ моднаго магазина стоитъ красавица, вылѣпленная изъ воска и обвѣшанная предметами роскоши.

Губы неестественно красны, какъ будто только что и при томъ черезчуръ сильно накрашенныя; лицо — желтовато-блѣдное; широко открытые глаза — засты-

ли, не видятъ, но страшнѣе всего рѣсницы — рядъ жесткихъ волосъ, далеко отстоящихъ одинъ отъ другого.

Внутри, въ полутемномъ магазинѣ дамы покупаютъ разнообразныя ленты.

— Барышня, — говоритъ толстая дама приказчицѣ, — достаньте еще изъ витрины карминовыя ленты.

Приказчица повинуется.

Ея шаги усталы и нетверды; съ трудомъ раскрываетъ она свои красныя вѣки, чтобы не заснуть на ходу; губы красны, но, видно, свѣже накрашены.

Она открываетъ окно, наклоняется къ восковой фигурѣ и ищетъ ленты. Но вдругъ она задумывается и смотритъ въ пространство, ничего не видя.

Мгновенье она стоитъ такъ неподвижно. И каждый проходящій невольно спрашиваетъ себя:

— Кто ужаснѣе: та, что изъ воска, или та, что изъ плоти?..

*

ПОДЛЕЦЪ

I

Богатый человѣкъ проѣзжаетъ на дрожкахъ и видитъ нищаго, прислонившагося къ стѣнѣ. Холодно и сыро: Богъ знаетъ, какъ давно стоитъ нищій и ждетъ подаянія...

Богачъ достаетъ изъ кармана гривенникъ и бросаетъ нищему.

Нищій смотритъ, куда упала монета, и не двигается съ мѣста. Богачъ замѣчаетъ это:

— Ему мало, — думаетъ онъ, — подлецъ!

II

Дрожки промчались. Нищій охая опускается на тротуаръ.

Холодно и сыро. У него ломитъ кости. Ноги точно окаменѣли... Богъ знаетъ, какъ онъ доберется сегодня домой. Деревяшки не повинуются...

Сидя, онъ тоже не можетъ достать монеты. Онъ растягивается во всю длину и простираетъ руку. Еще, еще! Онъ досталъ ее, наконецъ!

Онъ приближаетъ ее къ глазамъ — монета фальшивая! И онъ также вскрикиваетъ: — Подлецъ!

*

ЭТО ВѢДЬ НЕ ЧУЛКИ!

I

На чулочной фабрикѣ.

Входитъ дѣвушка съ дюжиной готовыхъ шерстяныхъ чулковъ. Она приближается къ старику-хозяину.

Онъ бросаетъ взглядъ на товаръ и указываетъ пальцемъ на *молодого.* Она идетъ къ тому.

Молодой беретъ чулки въ руки, — онѣ достаточно мягки; кладетъ на вѣсы — какъ разъ; мѣритъ длину, ширину, ступню — все какъ слѣдуетъ.

Дѣвушка облегченно вздыхаетъ. Протягиваетъ руку за деньгами.

— Минутку! — говоритъ «молодой хозяинъ». Беретъ со стола лупу, вытираетъ ее и разсматриваетъ работу.

Послѣ тщательнаго изслѣдованія онъ заявляетъ равнодушно, но твердо:

— Нѣсколько нитокъ оборвано; три очка спущены... Три процента долой!

— Но... — пытается возразить дѣвушка.

— Безъ всякихъ «но»! — рѣзко прерываетъ «молодой хозяинъ». — Дайте ей ордеръ въ кассу.

II

Дверь опять открывается, и появляется улыбающійся рыжій еврей.

— Добраго утра!

— Добраго года! — отвѣчаетъ «старый хозяинъ». — Пожалуйте!

Рыжій еврей подходитъ къ старику и садится у стола.

— Это мой сынъ! — съ гордостью показываетъ старикъ на молодого. — Купецъ! — прибавляетъ онъ, — да еще какой купецъ!

— Ну, и прекрасно! — отвѣчаетъ рыжій еврей. — Купцу нужны деньги!..

— Деньги, — пожимаетъ старикъ плечами.

— 15.000 наличными.

— Но одна нога нѣсколько короче, — вмѣшивается молодой съ невеселой улыбкой.

— Едва замѣтно, — говоритъ сватъ.

— Но вѣдь все-таки короче!

— Ну, — говоритъ старикъ, — невѣста вѣдь не чулокъ! Въ лупу вѣдь не разсматриваютъ!

*

СЕРДЕЧКО ТРЕПЕЩЕТЪ

M-lle Мари была на половину романтична, на половину практична, а въ общемъ и цѣломъ совсѣмъ недурна; немного музыки, немного французскаго, костюмы со вкусомъ, носикъ вздернутый, глаза то свѣтло-, то темно-голубые.

Разъ ей приснился страшный сонъ.

На небѣ висятъ вѣсы, качаясь въ обѣ стороны и никакъ не приходя въ равновѣсіе.

Что же лежитъ на чашкахъ?

Два ангела сыплютъ на чашки что-то такое, не переставая...

Съ одной стороны, ангелъ черный (въ цилиндрѣ и фракѣ) сыплетъ жемчугъ, алмазы и золото.

Съ другой, бѣлый, задумчивый, сыплетъ слезы, вздохи и пѣсни.

Вдругъ, видитъ — на остріе стрѣлки надѣто ея собственное сердечко, — она его тотчасъ же узнала.

Сердечко трепещетъ и бьется, припадая то къ одной чашкѣ, то къ другой...

«Чего ты жаждешь?
Злата звонъ?
Иль пѣсенъ звуки?
Хочешь жемчуга иль слезъ?..»

Ангелы поютъ, и сердечко все трепещетъ и не знаетъ, что выбрать...

Вдругъ удачная мысль осѣнила ея умъ (нашимъ дамамъ умъ и во снѣ не измѣняетъ). Она сѣла верхомъ на чашку съ жемчугомъ, алмазами и золотомъ, а чтобъ не упасть, какъ бы ненарокомъ оперлась головой о другую чашку...

Сидѣла она на золотѣ, жемчугѣ и алмазахъ, голова лежала на вздохахъ, слезахъ и пѣсняхъ, а сердечко продолжало трепетать и биться между ними.

ХАСИДСКІЕ РАЗСКАЗЫ

Каббалисты

Въ плохія времена падаетъ въ цѣнѣ даже лучшій товаръ — Тора.

Отъ всего іешибота* въ Лащевѣ остался только рошъ-іешива (руководитель іешибота) ребъ Іекель, съ единственнымъ ученикомъ Лемехомъ.

Рошъ-іешива — старый, худощавый еврей съ длинной, всклокоченной бородой и старыми, потухшими глазами. Любимый ученикъ его — молодой человѣкъ, тоже худощавый, высокій, блѣдный, съ черными вьющимися пейсами, черными, съ темными кругами, глазами, высохшими губами и дрожащимъ, выдающимся кадыкомъ. Оба — съ открытой грудью, безъ рубашекъ, въ рубищахъ. Рошъ-іешива еле тащитъ свои мужицкіе сапоги, у ученика башмаки валятся съ босыхъ ногъ.

Вотъ все, что осталось отъ знаменитой іешивы! Обнищавшее мѣстечко, чѣмъ дальше, все меньше посылало съѣстного, все меньше давало «дней»**, и ученики разбрелись кто куда. Но ребъ Іекелю хочется умереть здѣсь, а его ученикъ остается, чтобъ положить ему черепки на глаза.

И *даже имъ* вдвоемъ приходится подчасъ голодать. Отъ недостатка пищи — недостатокъ сна, а отъ безсонныхъ ночей и голодныхъ дней — охота къ каббалѣ!

---

* Раввинская семинарія.

** Бѣднѣйшіе іешиботники столуются въ домахъ болѣе состоятельныхъ евреевъ по одному или нѣсколько дней въ недѣлю.

Дѣйствительно: если ужъ бодрствовать цѣлыя ночи и голодать цѣлые дни, то хотя имѣть отъ этого какую-нибудь пользу: пусть хотя будутъ эти посты «очистительными», и разверзаются врата міра тайнъ, обиталища духовъ и ангеловъ!

Давно-таки занимаются они каббалой!

Вотъ сидятъ они теперь вдвоемъ за длиннымъ столомъ. У людей уже послѣ обѣда, у нихъ — еще передъ завтракомъ. Но вѣдь они привыкли. Рошъ-іешива поднимаетъ глаза вверхъ и говоритъ, ученикъ сидитъ подперши голову руками и слушаетъ.

— Въ этомъ находится, — говоритъ рошъ-іешива, — много степеней: одинъ знаетъ часть мелодіи, другой — половину, а третій и всю мелодію. Нашъ ребе, благословенна память его, зналъ всю мелодію и даже съ припѣвомъ. Я едва удостоился вотъ этакого кусочка, — прибавляетъ онъ печально, отмѣривая кончикъ костляваго пальца, и продолжаетъ:

— Есть мелодія, которая нуждается въ словахъ. Это совсѣмъ низкая степень... Есть болѣе высокая степень: мелодія, которая поется безъ словъ — чистая мелодія. Но для этой мелодіи еще нуженъ голосъ, нужны уста, откуда голосъ выходитъ. А уста, — понимаешь ты, — вѣдь плоть. И самый голосъ нѣчто, правда, болѣе благородное; но все-таки плотское, земное...

Допустимъ, что голосъ стоитъ на границѣ между плотскимъ и духовнымъ!

Но все-таки, мелодія, которая выводится голосомъ, которая зависитъ отъ устъ, еще не чиста, еще не совсѣмъ чиста, — она еще не есть истинно духовное!..

Истинная мелодія поется совсѣмъ безъ голоса, поется внутренно, въ сердцѣ, въ тайникахъ существа...

Вотъ въ этомъ-то и заключается сокровенный смыслъ словъ царя Давида: «Всѣ кости мои славославятъ»... Пѣснь должна звучать въ самомъ мозгу костей, тамъ должна раздаваться мелодія — высшая

хвала Всеблагому. Это — не пѣснь человѣка изъ плоти и крови, не *надуманное* звукосочетаніе, это уже частица мелодіи, которою Богъ сотворилъ вселенную, частица души, которую онъ вселилъ въ нее... И такъ поютъ Горнія Сферы! Такъ пѣлъ и нашъ ребе, благословена память его!

Бесѣду прервалъ растрепанный парень, опаясанный веревкою. Онъ вошелъ въ бетъ-гамедрашъ, поставилъ на столъ передъ рошъ-іешивой миску съ кашей и кусокъ хлѣба и грубымъ голосомъ проговорилъ:

— Ребъ Тевелъ посылаетъ рошъ-іешивѣ обѣдъ, — повернулся и, выходя, прибавилъ, — за миской приду потомъ.

Оторванный этимъ грубымъ голосомъ отъ божественной гармоніи, рошъ-іешива медленно поднялся и, волоча свои огромные сапоги, направился къ рукомойнику.

На ходу онъ продолжаетъ говорить, но уже съ меньшимъ воодушевленіемъ. Ученикъ слѣдитъ за нимъ своими горящими, восторженными глазами.

— Но, — продолжаетъ ребъ Іекель своимъ печальнымъ голосомъ, — я даже не удостоился постичь, какой это степени! черезъ какія врата нужно входить! Видишь ли, — добавляетъ онъ съ улыбкой, — «заклинанія», какія нужны для этого, я знаю и, можетъ быть, еще сегодня вечеромъ открою ихъ тебѣ.

У ученика глаза чуть изъ орбитъ не вылѣзаютъ. Онъ сидитъ съ раскрытымъ ртомъ, ловя каждое слово. Но учитель прерываетъ свою рѣчь. Онъ умываетъ руки, вытираетъ ихъ, читаетъ предобѣденную молитву, идетъ къ столу и дрожащими губами произноситъ благословеніе надъ хлѣбомъ.

Дрожащими, костлявыми руками приподнимаетъ онъ миску. Паръ покрываетъ его исхудавшее лицо теплой дымкой. Потомъ ставитъ миску обратно, беретъ ложку въ правую руку, а лѣвую грѣетъ о край миски, прожевывая беззубыми челюстями первый кусокъ хлѣба съ солью.

Согрѣвъ лицо и руки, онъ сильно морщитъ лобъ, стягиваетъ свои синія тонкія губы и начинаетъ дуть на миску.

Все время ученикъ не спускаетъ съ него глазъ. А когда учитель подноситъ къ губамъ первую ложку каши, его что-то схватываетъ за сердце. Онъ закрываетъ лицо руками и какъ-то весь съеживается.

Черезъ нѣсколько минутъ входитъ другой парень съ мискою каши и хлѣбомъ:

— Ребъ Іосефъ посылаетъ ученику обѣдъ!

Но ученикъ не отнимаетъ рукъ отъ лица.

Рошъ-іешива кладетъ ложку и подходитъ къ ученику. Нѣкоторое время онъ глядитъ на него съ гордой любовью, потомъ обертываетъ руку полой своей одежды и дотрагивается до его плеча.

— Тебѣ принесли обѣдать, — будитъ онъ его ласковымъ голосомъ.

Печально и медленно отнимаетъ ученикъ свои руки отъ лица. А лицо его еще блѣднѣе, запавшіе глаза горятъ еще болѣе дико.

— Знаю, ребе, — отвѣчаетъ онъ, — но я сегодня ѣсть не буду.

— Четвертый день поста? — спрашиваетъ рошъ-іешива удивленный, — и безъ меня? — добавляетъ онъ съ упрекомъ.

— Это другой постъ, — отвѣчаетъ ученикъ, — это постъ покаянный.

— Что ты говоришь? Ты — и покаянный постъ?!

— Да, ребе! покаянный постъ... минуту раньше, когда вы начали обѣдать, у меня явился соблазнъ... преступить заповѣдь «*Не пожелай!*»

*

Поздней ночью, ученикъ будилъ учителя. Они оба спали въ синагогѣ другъ противъ друга на скамейкахъ.

— Ребе! ребе! — звалъ онъ слабымъ голосомъ.

— Что такое? — проснулся рошъ-iешива съ испугомъ.

— Я только что былъ на высшей ступени...

— Какимъ образомъ? — спрашиваетъ рошъ-iешива, еще не совсѣмъ оправившiйся отъ сна.

— *Во мнѣ* пѣло!..

Рошъ-iешива разомъ поднялся.

— Какимъ образомъ? Какимъ образомъ?

— Я самъ не знаю, ребе, — отвѣтилъ ученикъ еще болѣе слабымъ голосомъ. — Я не могъ заснуть, углубившись въ смыслъ вашихъ словъ... Мнѣ хотѣлось непремѣнно узнать эту мелодiю... и отъ великаго горя, что не могу постигнуть ее, я началъ плакать... Все плакало во мнѣ — всѣ мои члены плакали передъ Творцомъ мiра. Тутъ же я употребилъ заклинанiя, которыя вы мнѣ повѣдали... И — странно — не устами, а какъ-то внутренно... само собою... Вдругъ мнѣ стало свѣтло... я держалъ глаза закрытыми, а мнѣ было свѣтло, очень свѣтло, ослѣпительно свѣтло...

— Вотъ-вотъ! — шепчетъ, нагибаясь къ нему, рошъ-iешива.

— Потомъ мнѣ стало отъ этого свѣта такъ хорошо, такъ легко... мнѣ казалось, что я сталъ невѣсомымъ и въ состоянiи летать...

— Вотъ! Вотъ!

— Потомъ мнѣ стало радостно, весело, бодро... лицо было неподвижно, губы тоже, а я все-таки смѣялся... и такимъ добрымъ, такимъ сердечнымъ, такимъ сладостнымъ смѣхомъ!

— Вотъ! вотъ! вотъ! отъ радости.

— Потомъ что-то стало звучать во мнѣ, напѣвать, напѣвать, точно начало мелодiи...

Рошъ-iешива соскочилъ со своей скамейки и однимъ прыжкомъ очутился около своего ученика:

— Ну... ну...

— Потомъ я услышалъ, какъ во мнѣ запѣло!

— Что ты испытывалъ? Что? Что? Говори!

— Я испытывалъ, что всѣ внѣшнія чувства мои заглушены и закрыты, а внутри что-то поетъ, и такъ именно, какъ слѣдуетъ: безъ словъ, вотъ такъ...

— Какъ? Какъ?

— Нѣтъ, я не умѣю... но прежде я зналъ... потомъ изъ пѣнья получилось... получилось...

— Что получилось?.. что?

— Нѣчто вродѣ музыки точно внутри у меня скрипка пѣла... Или будто Іона-музыкантъ сидѣлъ во мнѣ и игралъ застольныя пѣсни, какъ за трапезой у цадика. Но тутъ игра была лучшая, болѣе нѣжная, болѣе одухотворенная. И все — безъ голоса, безъ всякаго голоса, нѣчто чисто духовное...

— Благо тебѣ! Благо тебѣ! Благо тебѣ!

— Теперь все исчезло! — говоритъ ученикъ печально. — Теперь опять раскрылись мои чувства, и я такъ усталъ, такъ... у-ус-талъ...

— Ребе! — закричалъ онъ вдругъ, хватаясь за сердце. — Ребе! Читайте со мною отходную!.. За мною пришли. Тамъ въ Горнихъ Высотахъ недостаетъ, пѣвца! Ангелъ съ бѣлыми крыльями!.. Ребе! ребе! «Слушай, Израиль! Слу-шай-й... Из...»

*

Все мѣстечко, какъ одинъ человѣкъ, желало себѣ подобной кончины, но для рошъ-іешивы и этого было мало:

— Еще нѣсколько постовъ, — охаетъ онъ, — и онъ бы умеръ уже «отъ поцѣлуя»!*

* Т. е. отъ прикосновенія къ его устамъ Святого Духа.

„Если не выше еще“...

Изъ хасидскихъ разсказовъ

. . . .

И ежедневно на разсвѣтѣ во время «Слихосъ» немировскій цадикъ исчезалъ.

Его не видно было нигдѣ, ни въ синагогѣ, ни въ молельняхъ, ни — само собою — при домашнемъ богослуженіи. Двери оставались открытыми, входилъ, кто хотѣлъ (кражъ, конечно, не случалось): въ домѣ никого. — Гдѣ можетъ быть цадикъ?

— Гдѣ ему быть! Конечно, на небѣ. Мало дѣла тамъ, что ли, у цадика передъ «страстными днями?» Мало о чемъ позаботиться надо? Евреямъ (не сглазить бы) нужны пропитаніе, спокойствіе, здоровье; нужно удачно дѣтей сосватать; что называется, быть какъ слѣдуетъ передъ Богомъ и передъ людьми. А грѣхи вѣдь велики, и дьяволъ тысячеглазый видитъ все и доноситъ и обвиняетъ...

Кому же заступиться, если не цадику?..

Но случился тутъ однажды литвакъ, — смѣется...

Знаете литваковъ? Книгъ нравоучительныхъ не очень уважаютъ, а колютъ глаза талмудомъ да раввинскою письменностью. Такъ этотъ литвакъ приводитъ доказательство изъ Талмуда, прямо въ глаза тычетъ, — что даже Моисей и тотъ не могъ входить на небо и достигалъ лишь высоты на десять локтей *ниже* небеснаго свода... Ну, поди спорь съ литвакомъ!

— Все-таки — спрашиваютъ его — куда же дѣвается цадикъ?

— Да мнѣ-то что! — отвѣчаетъ онъ, пожимая плечами. Но тутъ-таки (на что литвакъ способенъ!) рѣшаетъ разъяснить это загадочное дѣло.

*

Въ тотъ же день, сейчасъ послѣ вечерней молитвы, онъ прокрадывается въ комнату цадика, залѣзаетъ подъ кровать и лежитъ: надо прокараулить всю ночь и узнать, куда дѣвается цадикъ и чѣмъ онъ занимается въ это время.

Другой, можетъ быть, не выдержалъ бы — уснулъ и проспалъ бы моментъ; литвакъ же находитъ средство: лежитъ и повторяетъ наизусть цѣлый талмудическій трактатъ, — не помню уже: «Хулинъ» или «Недоримъ».

На разсвѣтѣ слышитъ онъ — стучатъ: зовутъ къ «Слихосъ». Цадикъ давно уже не спитъ; болѣе часа слышно, какъ онъ кряхтитъ... Кто когда-нибудь слыхалъ, *какъ* кряхтитъ немировскій цадикъ, знаетъ, сколько народной скорби, сколько мукъ въ каждомъ его вздохѣ... Душа изнываетъ отъ этого кряхтенія. Но у литвака вѣдь желѣзное сердце, — слушаетъ и лежитъ себѣ дальше. Лежитъ и цадикъ, — цадикъ въ постели, литвакъ подъ кроватью...

*

Вскорѣ слышитъ литвакъ — въ сосѣднихъ комнатахъ поднимаются со скрипящихъ кроватей... Бормочутъ краткую утреннюю молитву... Слышенъ плескъ омовенія... Дверьми хлопаютъ... Постепенно все утихаетъ... Тишина и полумракъ... Въ щели ставень пробивается блѣдное мерцаніе...

Сознавался литвакъ, правда, что, когда все кругомъ снова утихло и онъ остался одинъ въ комнатѣ съ цадикомъ, на него напала непреодолимая робость, вся кожа, на немъ запупырилась, какъ у испуганнаго гуся, и корни волосъ на вискахъ начали колоть, какъ

иголки. Шутка сказать: во время «Слихосъ» оставаться самъ-другъ съ цадикомъ въ одной комнатѣ!.. Какъ знать, что тутъ можетъ произойти! *Кто* вдругъ появится!..

Но литвакъ вѣдь упоренъ: дрожитъ, зубъ на зубъ не попадаетъ, а лежитъ!

*

Наконецъ, цадикъ встаетъ.

Сначала онъ исполняетъ все нужное по ритуалу, потомъ подходитъ къ платяному шкафу и вынимаетъ оттуда узелъ... Изъ узла появляется крестьянское платье: холщевые портки, огромныя сапожищи, сермяга, большая баранья шапка и широкій кожаный кушакъ, обитый мѣдными кнопками.

Цадикъ все это надѣваетъ на себя...

Изъ кармана сермяги торчитъ конецъ веревки — обыкновенной, грубой веревки...

Коротко — цадикъ идетъ, литвакъ за нимъ.

Мимоходомъ цадикъ заходитъ въ кухню, нагибается подъ палати и, доставъ оттуда топоръ, засовываетъ его за поясъ и выходитъ на улицу.

Литвакъ весь дрожитъ, но не отстаетъ ни на шагъ.

*

Робкая, благоговѣйная тишина царитъ на темныхъ уличкахъ... Кое-гдѣ вырывается стонущій звукъ «Слихосъ» изъ какой-нибудь молельни...

Кое-гдѣ изъ-за оконныхъ стеколъ доносится стонъ больного... Цадикъ держится все болѣе въ сторонкѣ, въ тѣни домовъ и заборовъ... Временами фигура его выходитъ изъ тѣни, а литвакъ — за нимъ.

Ясно, отчетливо слышится литваку, какъ сердце колотится у него въ груди въ тактъ звукамъ отъ шаговъ цадика, но онъ идетъ дальше. И такъ выходятъ они за городъ.

*

За городомъ — роща.

Цадикъ заворачиваетъ туда и, пройдя шаговъ тридцать — сорокъ, останавливается возлѣ одного дерева. Литвакъ внѣ себя отъ изумленія, видя, какъ цадикъ вынимаетъ изъ-за пояса топоръ и принимается рубить дерево.

Цадикъ рубитъ, рубитъ; деревцо трещитъ и падаетъ...

Цадикъ разрубаетъ его на полѣнья, раскалываетъ на щепки, увязываетъ въ вязанку и, вскинувъ ее на плечи, засовываетъ топоръ за кушакъ и направляется изъ лѣсу обратно въ городъ.

Въ одномъ переулкѣ цадикъ останавливается у полуразвалившейся избенки и стучитъ въ окошко.

— Кто тамъ? — раздается испуганный голосъ, и литвакъ слышитъ, что это голосъ больной женщины.

— Я, — отвѣчаетъ по-*русски* цадикъ.

— Кто — «я»?

— Василь, — отвѣчаетъ съ хохлацкимъ оттѣнкомъ цадикъ.

— Какой такой Василь и что тебѣ надо?

— Дрова маю продаваты, — отвѣчаетъ цадикъ, вязанку дровъ... и дешево, почти даромъ...

И, не ожидая отвѣта, онъ направляется въ избенку.

*

Литвакъ прокрадывается туда же. При сѣромъ утреннемъ полумракѣ передъ нимъ — бѣдная комнатка съ убогою и поломанной утварью; на постели, подъ грудою тряпокъ, лежитъ больная женщина, которая говоритъ съ отчаяньемъ пришедшему Василю:

— Купить?.. А на какія деньги купить? Откуда мнѣ взять ихъ, бѣдной вдовѣ?

— Я тебѣ въ долгъ повѣрю, — отвѣчаетъ переодѣтый цадикъ, — всего шесть грошей...

— А гдѣ я возьму ихъ, чтобы уплатить тебѣ?

— Глупый ты человѣкъ! — строго возражаетъ цадикъ, — смотри, ты бѣдная, больная женщина, и я тебѣ вѣрю въ долгъ... Я *увѣренъ,* что ты заплатишь... Ты имѣешь такого великаго и всесильнаго Бога и... не довѣряешь Ему?! И не надѣешься на Него даже на какіе-нибудь шесть грошей за вязанку дровъ!..

— А кто затопитъ? — жалобно спрашиваетъ больная, — я развѣ въ силахъ встать? Сынъ не вернулся съ работы...

— Я затоплю, — отвѣчаетъ цадикъ.

*

Кладя дрова въ печку, цадикъ, кряхтя, прочиталъ первую главу изъ «Слихосъ».

Затопивъ и видя, какъ дрова стали весело разгораться, онъ уже нѣсколько бодрѣе сталъ читать вторую главу.

Третью главу цадикъ прочиталъ, когда печка истопилась, и онъ закрылъ трубу.

*

Видѣвшій это литвакъ съ тѣхъ поръ остался уже навсегда немировскимъ хасидомъ.

Впослѣдствіи, когда, бывало, какой-нибудь хасидъ начнетъ разсказывать, что во время «Слихосъ» немировскій цадикъ поднимается *на небо,* литвакъ уже не смѣялся, но тихо прибавлялъ:

— «Если не выше еще!»

Межъ двухъ горъ

Между Брестскимъ раввиномъ и Бяльскимъ цадикомъ
(Разсказъ меламеда)

Про Брестскаго раввина и Бяльскаго цадика вы навѣрное слыхали, но не всѣ знаютъ, что Бяльскій цадикъ ребъ Ноэхке былъ раньше довольно продолжительное время усерднымъ ученикомъ Брестскаго раввина, потомъ внезапно исчезъ, мыкался нѣкоторое время по «голусу» и объявился, наконецъ, въ Бялѣ.

А ушелъ онъ отъ раввина вотъ почему: изучали Тору, но эта Тора, чувствовалъ цадикъ, «сухая» Тора... Изучаютъ, напримѣръ, какой-нибудь законъ по женскому ритуалу, о молочномъ и мясномъ, о гражданскихъ искахъ. Прекрасно. Приходятъ Рувимъ и Симонъ судиться, является съ требою чей-нибудь посланный, или женщина съ какимъ-нибудь ритуальнымъ вопросомъ, — въ этотъ моментъ изученіе Торы получаетъ душу, оживаетъ, пріобрѣтаетъ власть надъ жизнью. А безъ всего этого цадикъ чувствовалъ, что Тора, т. е. оболочка Торы, то, что лежитъ открыто передъ всѣми, на поверхности, одна сушь. Не это, чувствовалъ онъ, есть *ученіе жизни!* Тора должна жить!

Изучать каббалистическія книги было запрещено въ Брестѣ. Брестскій раввинъ былъ «миснагидомъ» и по натурѣ своей «мстительнымъ и злопамятнымъ, какъ змѣй». Стоило дотронуться до «Зогара» или «Пардеса», — и онъ проклиналъ, предавалъ анаѳемѣ! Разъ

одного застали за каббалистической книгой, такъ раввинъ приказалъ сбрить ему бороду руками цырюльника-гоя. И что вы думаете? Человѣкъ съ ума сошелъ, впалъ въ меланхолію, и что еще болѣе удивительно, ему не могъ уже помочь никакой чудотворецъ. Шутите вы съ Брестскимъ раввиномъ! И все-таки, какъ это уйти изъ іешибота Брестскаго раввина?

Долгое время цадикъ колебался-таки.

Но разъ было ему видѣніе. Приснилось ему, что Брестскій раввинъ зашелъ къ нему и сказалъ: «Пойдемъ, Ноахъ, я поведу тебя въ нижній рай». И онъ взялъ его за руку и повелъ. Они очутились въ обширномъ чертогѣ, гдѣ, кромѣ входа, черезъ который они вошли, не было ни дверей, ни оконъ. Въ чертогѣ, однако, было свѣтло, — стѣны, казалось цадику, были изъ хрусталя, и отъ нихъ исходилъ яркій блескъ.

И они ходятъ и ходятъ, и конца не видать.

— Держись за мой кафтанъ, — говоритъ раввинъ, — тутъ имѣется безчисленное количество лабиринтовъ, и, если ты отстанешь отъ меня, ты заблудишься навѣки...

Цадикъ такъ и сдѣлалъ. Идутъ все дальше и дальше, и за все время онъ не замѣтилъ ни скамейки, ни стула, ни какой бы то ни было домашней обстановки, — ничего!

— Здѣсь не сидятъ, — объясняетъ ему Брестскій раввинъ, — а идутъ все впередъ и впередъ.

И онъ слѣдовалъ за раввиномъ. И залы становились одинъ другого все больше, все красивѣе, и стѣны сверкали то однимъ цвѣтомъ, то другимъ, то нѣсколькими цвѣтами вмѣстѣ... Но ни живой души не встрѣтилось имъ.

Цадикъ усталъ. Холодный потъ облилъ его. Скоро холодъ сталъ пронизывать всѣ его члены. Къ тому же отъ непрерывнаго блеска у него глаза заболѣли.

И тоска напала на него, потянуло его къ евреямъ, къ товарищамъ, ко всему Израилю. Шутка ли — не видать передъ собою ни одного еврея!..



— Не тоскуй ни по комъ, — говоритъ Брестскій раввинъ, — этотъ чертогъ только для меня и для тебя: когда-нибудь и ты станешь Брестскимъ раввиномъ.

Тутъ цадикъ еще болѣе испугался и ухватился за стѣну, чтобы не упасть. И стѣна обожгла его. Но не какъ огонь, а какъ ледъ.

— Ребе! — раздался крикъ его, — стѣны изъ льда, а не изъ хрусталя. Изъ простого льда!

Брестскій раввинъ молчитъ.

А цадикъ продолжаетъ кричать:

— Ребе, выведите меня отсюда! Я не хочу быть одинъ съ вами! Я хочу быть вмѣстѣ со всѣмъ Израилемъ!

И едва онъ вымолвилъ эти слова, Брестскій раввинъ исчезъ, и цадикъ остался въ чертогѣ одинъ.

Дороги онъ не знаетъ. Отъ стѣнъ бьетъ холодный ужасъ. А тоска по евреѣ, желаніе видѣть какого-нибудь еврея, хоть бы сапожника, портного, становится все сильнѣе и сильнѣе. И онъ горько заплакалъ.

— Творецъ міра, — молилъ онъ, — выведи меня отсюда! Лучше въ аду со всѣмъ Израилемъ, чѣмъ тутъ быть одинокимъ!

И мгновенно передъ нимъ предсталъ простой еврей въ красномъ извозчичьемъ кушакѣ и длиннымъ кнутомъ въ рукѣ. Еврей молча взялъ его за рукавъ, вывелъ изъ чертога и — исчезъ.

Такой-то сонъ «явили» ему!

И, проснувшись до разсвѣта, чуть заря забрезжила, онъ понялъ, что это былъ сонъ необыкновенный. Онъ быстро одѣлся и хотѣлъ побѣжать въ синагогу попросить ночующихъ тамъ талмудистовъ истолковать ему сонъ. Но, проходя по базару, онъ увидалъ запряженную извозчичью буду, громадную, старомодную буду, и при ней извозчика въ красномъ кушакѣ и съ длиннымъ кнутомъ въ рукѣ, и точь въ точь такого, какъ тотъ, который вывелъ его во снѣ изъ чертога.

Понялъ онъ, что это знаменіе и, подойдя, спрашиваетъ.

— Куда вы ѣдете?

— Не *твоей* дорогой, — грубо отвѣчаетъ извозчикъ.

— Все-таки? — проситъ онъ, — можетъ, я поѣду съ вами?

Извозчикъ призадумался и говоритъ:

— А пѣшкомъ такой парень не можетъ пойти? Ступай *своей* дорогой!

— А куда мнѣ итти?

— Куда глаза глядятъ, — отвѣчаетъ извозчикъ и отворачивается, — какое мнѣ дѣло!

Цадикъ понялъ и отправился въ «скитальчество».

Какъ я ужъ сказалъ, объявился цадикъ черезъ нѣсколько лѣтъ въ Бялѣ. Какъ все это произошло, я вамъ разсказывать не буду, хотя есть что послушать.

Спустя приблизительно годъ послѣ его появленія, меня взялъ къ себѣ въ качествѣ меламеда одинъ бяльскій обыватель, по имени Іехіэль. Собственно говоря, мнѣ не очень-то хотѣлось поступить на это мѣсто. Ребъ-Іехіэль, должны вы знать, былъ богачъ, изъ породы старосвѣтскихъ толстосумовъ. Дочерямъ своимъ онъ давалъ по тысячѣ червонцевъ приданаго и выдавалъ ихъ за величайшихъ раввиновъ, а послѣдняя сноха его была какъ разъ дочерью самаго Брестскаго раввина.

Вы сами понимаете, что если Брестскій раввинъ и другіе родственники — миснагды, то и ребъ Іехіэль долженъ быть миснагедомъ... А я какъ разъ бяльскій хасидъ. Какъ же поселиться въ такомъ домѣ?

Но меня все-таки тянуло въ Бялу. Шутка ли — съ цадикомъ въ одномъ городѣ! Думалъ и такъ и этакъ, и поѣхалъ наконецъ.

А р. Іехіэль оказался простымъ и истинно благочестивымъ евреемъ. Я даже ручаюсь, что сердце его, точно щипцами, тянуло къ цадику. И дѣйствительно: ученый онъ не былъ, а въ Брестскомъ раввинѣ онъ

ничего не понималъ. Мнѣ онъ не запрещалъ общаться съ Бяльскимъ цадикомъ, самъ же держался отъ него вдали. Когда я, бывало, разсказывалъ про цадика, онъ дѣлалъ видъ, что зѣваетъ, хотя уши, вижу я, навостряетъ. Только сынъ его, зять Брестскаго раввина, морщитъ лобъ, смотритъ на меня со злой усмѣшкой, но въ пререканія не вступаетъ, — онъ по натурѣ былъ не изъ разговорчивыхъ.

И вотъ снохѣ Іехіэля, дочери Брестскаго раввина, пришло время родить. Кажется, не новость, что женщина рожаетъ. Такъ при этомъ должна случиться такая, исторія: извѣстно было, что Брестскій раввинъ за то, что сбрилъ, т. е. велѣлъ сбрить еврею бороду и пейсы, былъ наказанъ тогдашними «цадикей гадоръ»*: оба сына его умерли втеченіе 5—6 лѣтъ, и ни одна изъ его трехъ дочерей не рожала мальчиковъ. Притомъ еще у всѣхъ у нихъ роды были, упаси Богъ, какіе тяжелые: каждый разъ онѣ бывали ближе къ тому свѣту, чѣмъ къ этому. Но разъ въ небесахъ хотѣли, чтобы между хасидами и миснагидами происходили междоусобія, то, хотя всѣ видѣли и знали, что это Брестскому раввину наказаніе отъ «цадикей-гадоръ», онъ самъ своими ясными глазами этого не видѣлъ. А можетъ, и не хотѣлъ видѣть. И онъ продолжалъ вести свою борьбу вооруженной рукой — анаѳемами и воинственнымъ пыломъ, какъ вообще въ тѣ времена...

Мнѣ было жалко, страшно жалко Гителе (такъ звали дочь Брестскаго раввина). Во-первыхъ, еврейская душа, во-вторыхъ, благочестивая еврейская душа, — такой праведницы, такого добраго сердца еще свѣтъ не видалъ. Ни одна бѣдная невѣста не выходила замужъ безъ ея помощи. Такое чудное созданіе, и должна страдать за непримиримость отца! И потому, какъ только я замѣтилъ появленіе повитухи, я

* Праведники, угодники.

началъ дѣйствовать во всю, чтобы послали за Бяльскимъ цадикомъ... Пусть пошлетъ «памятку» безъ «приношенія» — очень нужны ему «приношенія»! Бяльскій цадикъ былъ вообще невысокаго мнѣнія объ этихъ «приношеніяхъ». Но съ кѣмъ объ этомъ говорить?

Начинаю съ зятя Брестскаго раввина. Я знаю, что душа его воистину связана съ ея душой, потому что, какъ онъ это ни скрывалъ, ихъ сердечная близость чувствовалась во всѣхъ мелочахъ, въ каждомъ ихъ движеніи... Но это вѣдь зять Брестскаго раввина, — плюнулъ, ушелъ и оставилъ меня съ открытымъ ртомъ.

Обращаюсь къ самому Іехіэлю, такъ онъ мнѣ отвѣчаетъ: «Она — дочь Брестскаго раввина. Я противъ него итти не могу, хотя бы, упаси Богъ, угрожала опасность для жизни!» Иду къ его женѣ — женщинѣ благочестивой, но простой, — она мнѣ отвѣчаетъ вотъ что:

— Пусть мой мужъ прикажетъ, и я сейчасъ же отправлю къ цадику мои драгоцѣнныя украшенія — онѣ стоили уйму денегъ. А безъ мужа я мѣднаго гроша не дамъ.

— Но памятка... чѣмъ можетъ вамъ повредить памятка?

— Безъ вѣдома мужа — ничего! — отвѣчаетъ она, какъ должна отвѣтить благочестивая еврейка, и отворачивается отъ меня. И я вижу, что ей хочется лишь скрыть слезы: мать! сердце ея уже чуяло опасность...

Но когда я услышалъ первый крикъ, я *самъ* побѣжалъ къ цадику:

— Шмая! — отвѣчаетъ онъ мнѣ, — что мнѣ дѣлать? Я буду молиться.

— Дайте мнѣ, ребе, — молю я, — что-нибудь для роженицы — талисманъ, монету, что-нибудь дайте...

— Отъ этого, упаси Богъ, можетъ еще хуже сдѣлаться, — отвѣчаетъ онъ, — такія вещи, безъ вѣры въ нихъ, могутъ лишь повредить...



Случилось это въ первые дни Кущей. Что мнѣ было дѣлать? Роды у нея тяжелые, я помочь ничѣмъ не могу, такъ я совсѣмъ остался у цадика. Былъ я у него своимъ человѣкомъ. Буду, думаю, ему все время съ мольбой въ глаза глядѣть, — авось, смилостивится...

Слухи доходятъ, что дѣло плохо. Схватки продолжаются третій день...

Сдѣлали уже все, что могли: въ синагогу бѣгали, сдѣлали «обмѣръ могилъ», сожгли сотни фунтовъ свѣчей въ синагогахъ, и милостыни роздали кладъ цѣлый! Всего не перечесть! Всѣ платяные шкафы стояли открытыми, кучи монетъ лежали на столѣ, и нищіе приходили и брали, кто что хотѣлъ и сколько хотѣлъ.

У меня сердце защемило.

— Ребе, — говорю я, — вѣдь сказано: «Милостыня спасаетъ отъ смерти».

А онъ мнѣ отвѣчаетъ какъ будто не къ дѣлу:

— Можетъ, пріѣдетъ Брестскій раввинъ?

И въ ту же минуту входитъ р. Іехіэль! Къ цадику онъ не обращается, какъ будто и не видитъ его.

— Шмая! — говоритъ онъ, хватая меня за лацканъ, — за домомъ стоитъ подвода — иди, садись, и поѣзжай къ Брестскому раввину, пусть онъ пріѣдетъ...

И онъ, видно, чувствовалъ уже, за кѣмъ тутъ остановка, потому что прибавилъ:

— Пусть онъ самъ увидитъ, что тутъ дѣлается. Пусть онъ скажетъ, что дѣлать.

А лицо у него, — что мнѣ вамъ сказать: у мертвеца краше.

*

Чтожъ, ѣду. Если, — размышляю я, — цадикъ знаетъ, что Брестскій раввинъ пріѣдетъ, то изъ этого кое-что да выйдетъ. Можетъ быть, даже миръ, не между Брестскимъ раввиномъ и Бяльскимъ цади-

комъ, а между обѣими спорящими сторонами вообще. Ибо дѣйствительно: если онъ пріѣдетъ, онъ вѣдь увидитъ. Есть же глаза у него!..

Но въ небесахъ, видно, не такъ-то скоро рѣшается: со мною оттуда вступили въ борьбу. Едва я выѣхалъ изъ Бялы, на небо набѣжала туча, да какая туча — тяжелая, черная, какъ смола! И разомъ подуло такъ, будто со всѣхъ сторонъ духи налетѣли. Мужикъ — и тотъ понялъ, въ чемъ дѣло: перекрестился и говоритъ, что дорога будетъ тяжелая, и указываетъ кнутомъ на небо... Вскорѣ поднялся еще болѣе сильный вѣтеръ, разорвалъ тучу, какъ рвутъ бумагу, въ клочки, и сталъ гнать одну часть тучи на другую, одну на другую, точно льдины въ половодье. Надъ головой уже два и три этажа тучъ. Я, собственно говоря, страху совсѣмъ не испытывалъ: промокнуть мнѣ не впервые, а грома я не боюсь, — во-первыхъ, въ Кущи грома не бываетъ; во-вторыхъ, дѣло происходило послѣ того, какъ цадикъ трубилъ въ рогъ въ праздникъ Новолѣтія, а вѣдь извѣстно, что послѣ этого никакіе громы не имѣютъ силы. Когда же вдругъ мнѣ прямо въ лицо ударила молнія разъ, другой и третій, то кровь у меня застыла въ жилахъ. Я ясно видѣлъ, что само небо меня бьетъ, гонитъ назадъ!

А мужикъ тоже проситъ: вернемся, да вернемся! Но я вѣдь знаю, что тамъ человѣческая жизнь въ опасности. Я сижу на подводѣ и среди бури слышу, какъ родильница стонетъ, какъ пальцы зятя Брестскаго раввина хрустятъ; я вижу также передъ собою омраченное лицо р. Іехіэля съ запавшими, горящими глазами. Поѣзжай, молитъ онъ, поѣзжай! И мы ѣдемъ дальше.

А тутъ льетъ и льетъ. Льетъ сверху, брызгаетъ изъ-подъ колесъ, изъ-подъ ногъ лошадей, а дорога вся залита, буквально вся покрыта водой. По водѣ несется пѣна. Подвода, кажется, сейчасъ поплыветъ...

Что мнѣ разсказывать вамъ дальше? Въ придачу ко всему мы еще блуждали... Но я все-таки устоялъ.

Съ Брестскимъ раввиномъ я вернулся въ «Гошайно-Рабо!»*

Ну, правду сказать, какъ только на подводу сѣлъ Брестскій раввинъ, стало совершенно тихо. Туча разорвалась на части, выглянуло солнце, и мы благополучно въѣхали въ Бялу — чистые и сухіе. Даже мужикъ замѣтилъ это и сказалъ на своемъ языкѣ: «Велькій раббинъ!» или «Дюжій раббинъ!»...

Но самое главное началось тогда, когда мы вошли.

Подобно саранчѣ, накинулись на него всѣ женщины, бывшія въ домѣ... Чуть не ницъ падали передъ нимъ и плакали. Родильницы изъ другой комнаты совсѣмъ не слышно было или изъ-за плача женщинъ, «Или, думаю, потому, что у нея не дай Богъ, ужъ силъ нѣтъ стонать»... Ребъ Іехіэль насъ даже не замѣтилъ: онъ прижался лбомъ къ оконному стеклу, — голова, видно, горѣла у него.

Зять Брестскаго раввина также не поворачивается, чтобы поздороваться съ тестемъ. Онъ стоитъ лицомъ къ стѣнѣ, и я вижу, какъ все тѣло его дрожитъ, а головой онъ бьется объ стѣну.

Я думалъ, — на ногахъ не устою. Такъ пробралъ меня страхъ и жалость. Холодъ прошелъ у меня по всѣмъ членамъ, я чувствовалъ, что душа во мнѣ холодѣетъ...

Но вы знали Брестскаго раввина?

Это былъ человѣкъ... желѣзный столбъ, говорю вамъ!

Высокаго роста, на цѣлую голову выше всѣхъ окружающихъ, — онъ внушалъ такой страхъ, — точно царь! Борода бѣлая, длинная. Рѣсницы бѣлыя, густыя, длинныя, полъ-лица осѣняли. А когда онъ ихъ поднялъ — Боже ты мой! всѣ женщины от-

---

* Седьмой день Кущей.

прянули, точно громомъ ихъ разметало — такіе у него были глаза. Бритвы, острыя бритвы сверкали въ нихъ! А крикъ онъ испустилъ, точно левъ:

— Прочь, бабы!

А потомъ — но уже тихо и привѣтливо:

— А гдѣ моя дочь?

Ему указали.

Онъ вошелъ, а я остался буквально внѣ себя: такіе глаза, такой взглядъ, такой голосъ! Это совсѣмъ другіе пріемы, другой міръ. Глаза цадика свѣтятъ такъ радушно, такъ тихо, на душѣ становится веселѣе; посмотритъ на тебя, точно золотомъ осыпаетъ. А голосъ его, этотъ сладкій, бархатно мягкій голосъ — Творецъ міра! — сразу сердце покоряетъ, гладитъ сердце такъ тихо, такъ нѣжно... Не страхъ, упаси Богъ, испытываешь передъ нимъ, душа отъ любви таетъ, отъ сладости любви. Она рвется — изъ тѣла, чтобы слиться съ его душой... Она рвется, точно мотылекъ къ яркому пламени. А тутъ — Творецъ міра! — страхъ и ужасъ! Гаонъ,* старыхъ временъ гаонъ! И онъ-то входитъ къ роженицѣ!

— Вѣдь онъ — съ ужасомъ думаю я — въ груду костей ее превратитъ!..

И я бѣгу къ цадику.

А онъ встрѣчаетъ меня у самой двери съ улыбкой:

— Видалъ ли ты, — говоритъ онъ, — «величіе Торы?» Настоящее «величіе Торы»?

Я успокоился: разъ, думаю я, цадикъ улыбается, значитъ — хорошо!

И вышло дѣйствительно хорошо. «Шмини-Ацересъ»** она родила. А на завтра за столомъ, Брестскій раввинъ произносилъ уже намъ проповѣдь. Мнѣ, правда, хотѣлось сидѣть за столомъ не тутъ, но — не посмѣлъ. Тѣмъ болѣе, что безъ меня не было бы

---

* Высшій ученный авторитетъ.

** Восьмой день Кущей.

полнаго миньона* и нельзя было бы читать сообща потрапезную молитву.

Словомъ, о чемъ мнѣ разсказывать вамъ? О томъ, какъ знаетъ Тору Брестскій раввинъ? Если Тора — океанъ, то онъ былъ Левіаѳанъ въ океанѣ, — однимъ движеніемъ онъ могъ проплыть десятѣ трактатовъ, однимъ движеніемъ онъ проникалъ черезъ весь Талмудъ со всѣми его комментаріями. Такъ и гудитъ, бьетъ, кипитъ, клокочетъ... Словомъ, такъ, какъ разсказываютъ про настоящій океанъ. Онъ мнѣ всю голову развинтилъ! Но «сердце знаетъ горе души». Сердце мое все-таки было лишено радостей праздника. Я вспомнилъ тутъ про сонъ цадика — и остолбенѣлъ! Солнце свѣтитъ въ окно, вина на столѣ сколько угодно, всѣ присутствующіе, вижу я, обливаются потомъ, а мнѣ? мнѣ было холодно, невыносимо холодно! *Тамъ,* зналъ я, занимались другой Торой... *Тамъ* свѣтло и тепло... каждое слово пронизано и пропитано любовью и восторгомъ... ангелы, чувствуется, летаютъ по комнатѣ, слышишь буквально, какъ шумятъ ихъ большія, бѣлыя крылья... Ахъ, Творецъ міра! А уйти нельзя!

Вдругъ онъ, Брестскій раввинъ, прерываетъ проповѣдь и спрашиваетъ:

— Какой цадикъ имѣется у васъ здѣсь!

— Нѣкій Ноахъ, — отвѣчаютъ ему.

И рѣзнуло же меня по сердцу! «Нѣкій Ноахъ» — ахъ, льстецы, льстецы!

— Чудотворецъ? — спрашиваетъ онъ далѣе.

— Не слышно что-то... Бабы, правда, разсказываютъ, но кто ихъ слушаетъ?

— Онъ *такъ* беретъ деньги, безъ чудесъ?..

Тутъ уже рѣшаются правду сказать: «Беретъ мало и много раздаетъ».

Брестскій раввинъ задумывается.

---

* Десять человѣкъ.

— А Тору онъ знаетъ?

— Говорятъ — великій ученый.

— Откуда онъ, этотъ Ноахъ?

Никто не знаетъ, и отвѣчать приходится мнѣ. Такимъ образомъ, между мной и раввиномъ завязывается разговоръ:

— Не былъ ли этотъ Ноахъ когда-то въ Брестѣ? — спрашиваетъ онъ.

— Былъ ли цадикъ въ Брестѣ? — бормочу я, — кажется, да.

— Ага! — говоритъ онъ, — его хасидъ!

Мнѣ показалось, что онъ посмотрѣлъ на меня, какъ на паука.

И тутъ онъ обратился къ присутствующимъ:

— У меня когда-то былъ ученикъ Ноахъ... Правда, голова у него была прекрасная, но его все тянуло въ сторону. Я сдѣлалъ ему одно предостереженіе, другое, собирался уже сдѣлать третье, какъ онъ вдругъ исчезъ... Не *онъ* ли *это?*

— Кто можетъ знать?

И онъ начинаетъ обрисовывать его: худой, маленькій, съ черной бородкой, съ черными вьющимися пейсами, тихимъ голосомъ, задумчивый и т. д.

— Возможно, — говорятъ присутствующіе, — что это онъ и есть — очень похожъ.

Я ужъ благодарилъ Бога, когда приступили къ потрапезной молитвѣ.

Но послѣ молитвы произошло нѣчто такое, что мнѣ и присниться не могло.

Брестскій раввинъ поднимается со скамейки, отзываетъ меня въ сторону и говоритъ шопотомъ:

— Веди меня къ *твоему* цадику и *моему* ученику. Только, слышишь — никто не долженъ знать про это.

Я, конечно, послушался, но по дорогѣ спрашиваю со страхомъ:

— Брестскій раввинъ, — говорю я, — съ какой цѣлью вы идете къ нему?

А онъ мнѣ запросто отвѣчаетъ:

— При потрапезной молитвѣ мнѣ пришла въ голову мысль, что до сихъ поръ я осуждалъ заочно... Я хочу видѣть, видѣть собственными глазами. А можетъ, — прибавилъ онъ потомъ, — Богъ мнѣ поможетъ спасти своего ученика.

— Знаешь, безбожникъ, — говоритъ онъ затѣмъ шутливо, — если твой цадикъ тотъ же Ноахъ, что учился у меня, то онъ будетъ великимъ мужемъ во Израилѣ, раввиномъ въ Брестѣ!

Теперь я ужъ зналъ навѣрное, что это онъ и есть, и сердце мое затрепетало...

*

И двѣ горныя вершины встрѣтились... И если я остался между ними на мѣстѣ, то это только чудо небесное!

Бяльскій цадикъ, благословена память его, посылалъ своихъ хасидовъ въ Симхасъ-Тору* гулять за городомъ, а самъ сидѣлъ на балкончикѣ, и глядѣлъ и радовался на нихъ.

Это была не нынѣшняя Бяла. Тогда это было лишь маленькое мѣстечко, одни только маленькіе деревянные домики, не считая синагоги и бетъ-гамедраша цадика. Балкончикъ былъ на второмъ этажѣ, и оттуда все видно было, какъ на ладони: на востокѣ холмы, къ западѣ — рѣка... А цадикъ сидитъ и смотритъ. Видитъ нѣсколькихъ хасидовъ, идущихъ молча, и бросаетъ имъ сверху начало мелодіи, — они подхватываютъ ее и продолжаютъ прогулку уже съ пѣсней на устахъ. И группа за группой проходятъ они мимо, и направляются за городъ съ пѣніемъ и истинной радостью, — съ истинной «радостью Торы». Самъ же цадикъ сидитъ себѣ на балкончикѣ.

Но тутъ, цадикъ, видно, услыхалъ другіе шаги:

---

* Сихмасъ-Торы — праздникъ «радости Торы».

онъ поднялся и пошелъ навстрѣчу Брестскому раввину.

— Шоломъ-алейхемъ, ребе! — сказалъ онъ скромно, своимъ сладкимъ голосомъ.

— Шоломъ-алейхемъ, Ноахъ! — отвѣтилъ Брестскій раввинъ.

— Садитесь, ребе!

Брестскій раввинъ садится, а Бяльскій цадикъ становится передъ нимъ.

— Скажи мнѣ только, Ноахъ, — говоритъ раввинъ, поднявъ рѣсницы, — почему ты убѣжалъ изъ моего іешибота? Чего тебѣ тамъ недоставало?

— Мнѣ, ребе тамъ недоставало, — отвѣчаетъ цадикъ спокойно, — воздуху... я не могъ тамъ дышать...

— Что это значитъ? Что говоришь ты, Ноахъ?

— Не мнѣ, — объяснилъ цадикъ со спокойной улыбкой, — а моей душѣ недоставало...

— Почему, Ноахъ?

— Ваша Тора, ребе, лишь сухой законъ. Она — безъ благодати, безъ искры милости ваша Тора! А потому она безъ радости, безъ воздуха... само желѣзо и мѣдь — желѣзныя постановленія, мѣдные законы... и слишкомъ она недоступная Тора, — для ученыхъ только, для однихъ избранниковъ...

Брестскій раввинъ молчитъ, а цадикъ продолжаетъ:

— И скажите мнѣ, ребе, что вы можете дать *всему* Израилю? Что у васъ есть для дровосѣка, мясника, для ремесленника, простого еврея?... въ особенности для грѣшнаго еврея? Что вы можете дать не-ученымъ?

Брестскій раввинъ молчитъ, будто не понимаетъ, что тотъ говоритъ. А Бяльскій цадикъ по-прежнему стоитъ передъ нимъ и продолжаетъ своимъ сладкимъ голосомъ:

— Простите меня, ребе, но правду я долженъ сказать: жестка была ваша тора, жестка и суха, потому что она была лишь *тѣломъ* Торы, а не душой ея!

— Душой? — спрашиваетъ раввинъ и третъ рукой свой высокій лобъ.

— Конечно! Ваша тора, ребе, какъ я сказалъ, лишь для избранниковъ, для ученыхъ, но не для всего Израиля, а *Тора* должна быть для всего Израиля. Святыня должна осѣнять весь Израиль. Ибо Тора — душа всего Израиля.

— А твоя Тора, Ноахъ?

— Вы хотите видѣть ее, ребе?

— Тору—видѣть?—удивляется Брестскій раввинъ.

— Пойдемте, ребе, я вамъ покажу ее. Я покажу вамъ блескъ ея, радость, льющуюся изъ нея на всѣхъ, на весь Израиль.

Брестскій раввинъ не трогается съ мѣста.

— Прошу васъ, ребе, пойдемте, это недалеко.

Онъ вывелъ его на балкончикъ. Я тихонько пошелъ за ними.

Цадикъ почувствовалъ это:

— Ты можешь пойти съ нами, — сказалъ онъ, — Шмая, сегодня и ты увидишь... Брестскій раввинъ также увидитъ... «*радость Торы*» увидите вы, увидите истинную «радость Торы!»

И я видѣлъ то же, что и всегда въ Симхасъ-Тору, но видѣлъ *иначе*... какъ бы завѣса спала съ моихъ глазъ.

Бездонное, безпредѣльное небо, такое голубое, ярко голубое, чарующее. По небу плыли бѣлыя, точно серебряныя, облачка, и если всмотрѣться въ нихъ, то можно было видѣть, что онѣ буквально дрожали отъ радости, что они плясали съ «радостью Торы». Городъ обхватывалъ широкій поясъ темной зелени, но эта зелень была такая живая зелень, такая живая, точно сама жизнь витала между травами. Казалось, каждый разъ то тутъ, то тамъ вспыхиваютъ огоньки отрады, упоенія жизни... Видно было воочію, какъ огоньки прыгаютъ и пляшутъ между былинками... точно обнимаются и цѣлуются съ ними...

А на лужайкахъ, усѣянныхъ огоньками, группами гуляютъ хасиды. Атласные и даже ластиковые кафтаны блестятъ, какъ зеркало, одинаково блестятъ,

какъ цѣлые, такъ и рваные... А огоньки, вырываясь изъ травы, льнутъ и цѣпляются за блестящія праздничныя одежды. Казалось, съ восторгомъ, съ любовью пляшутъ огоньки вокругъ каждаго хасида. И всѣ группы хасидовъ смотрятъ съ такими жаждущими глазами кверху, къ балкончику цадика... И эти жаждущіе глаза, я видѣлъ воочію, оттуда, съ лица цадика, всасываютъ въ себя этотъ свѣтъ, и, чѣмъ больше они всасываютъ свѣта, тѣмъ громче поютъ... тѣмъ громче и громче... тѣмъ веселѣе и священнѣе...

Каждая группа пѣла свою мелодію, но въ воздухѣ всѣ эти мелодіи и голоса сливались, и до цадика доходила *одна* лишь пѣснь, одна мелодія... точно всѣ пѣли одинъ общій гимнъ... И все кругомъ поетъ — и своды небесные поютъ, и земля снизу поетъ, и душа вселенной поетъ, — все, все поетъ!..

Творецъ міра! Мнѣ казалось, я растворюсь въ блаженствѣ...

Но мнѣ это не суждено было.

— Пора вечернюю молитву читать, — вдругъ рѣзко заявилъ Брестскій раввинъ. И все исчезло...

Тихо. Завѣса опять упала на глаза: наверху — обыкновенное небо, внизу — обыкновенные, самые обыкновенные хасиды въ порванныхъ кафтанахъ... старые безсвязные отрывки мелодій... огоньки потухли... Гляжу на цадика, — и лицо его мрачно...

*

Они не сошлись: Брестскій раввинъ — миснагидъ по-прежнему, онъ съ тѣмъ и уѣхалъ.

Но кое-какое дѣйствіе эта встрѣча оказала: Брестскій раввинъ уже болѣе не преслѣдовалъ Бяльскаго цадика.

ОГЛАВЛЕНІЕ

РАЗСКАЗЫ

ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ СИЛУЭТОВЪ

пер. Арія Брумберга

СКАЗКИ И КАРТИНКИ

ХАСИДСКІЕ РАЗСКАЗЫ


Stanford University Libraries
3 6105 017 602 355

